

ВЛАДИЛЕН
МАШКОВЦЕВ

Урал-
БАТЮШКА



Золотой цветок – одолень

Урал-батюшка

Владилен Машковцев

Золотой цветок – одолень

«ВЕЧЕ»

1997

Машковцев В. И.

Золотой цветок – одолень / В. И. Машковцев — «ВЕЧЕ»,
1997 — (Урал-батюшка)

ISBN 978-5-4484-8473-5

Круты казачьи нравы XVII века. Да и как им стать иными, коли неприветливы окрестные земли, немудрено сложить буйну голову в кровавой сече, там и тут гремит булат и летят смертоносные стрелы, вспыхивают схватки с непримиримыми кочевниками, и жены казацкие наравне с мужьями плечом к плечу сражаются с лютым ворогом. Владилен Иванович Машковцев (1929–1997) – российский поэт, прозаик, фантаст, публицист, общественный деятель. Атаман казачьей станицы Магнитной, почётный гражданин Магнитогорска, кавалер Серебряного креста «За возрождение оренбургского казачества». Автор более чем полутора десятков художественных произведений, изданных на Урале и в Москве, в том числе историко-фантастического романа «Золотой цветок – одолень», рассказывающего о яицком казачестве.

ISBN 978-5-4484-8473-5

© Машковцев В. И., 1997

© ВЕЧЕ, 1997

Содержание

Цветь первая	6
Цветь вторая	8
Цветь третья	18
Цветь четвертая	36
Цветь пятая	40
Цветь шестая	42
Цветь седьмая	47
Цветь восьмая	52
Цветь девятая	56
Цветь десятая	57
Цветь одиннадцатая	60
Цветь двенадцатая	65
Цветь тринадцатая	66
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Владилен Иванович Машковцев

Золотой цветок – одолень

© Машковцев В.И., наследники, 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

Цветь первая

Всходит солнце у Яика Горыныча, а ночует у Днепра Славутича. А степь – в серебре. Срачица белая над ковылями от ветра трепыхалась. Чалый конь былинно летел. Гикал с удалю Ермошка. И сабля его булатная синью сверкала. И катилась к морю великая казачья река. Яик – река рыбная. Белуги ходят в двадцать – тридцать пудов, осетры – в девять, севрюги – тьма. И степи скотопашные, щедролебные. Рожь душистая, в ковригах семь ден не черствеет. Места по правому берегу реки куропаткой, зайцем и зверем обильны, пчелисты. В борах сохатые шастают, медведи жиреют. Но богатство главное – в реке. Икры черной, зернистой сорок сот бочек можно на торг поставить, была бы соль. И табуны в левобережных степях на Яике игривы, без пастухов в лето и зиму бродят разумно. Сено коням казаки и ордынцы не припасают. В бураны и снега лошади сами себе корм добывают. Волки боятся табунов. Учует жеребец-вожак волка – вскинется, заржет дико. И полетят бешено кони за волчьей стаей. Всех порубят копытами, затопчут. Табун в степи – самый сильный зверь.

– Яик – земля вольная. Паки иные земли к Москве льнут. Казань окровавленно упала перед ней. Башкирия сама к Белокаменной на присоединение пошла с поклоном. Великий юг зашатался от напора московитян: Астрахань взяли, прижали и почти преклонили Дон. Как сказал один летописец: Ермак в 1582 году бросил Сибирь к ногам царским шкурой медвежьей. А Яик Горыныч сам по себе живет. Ни Иван Грозный, ни Борис Годунов, ни Василий Шуйский на земли эти не зарились даже. Мудрые дьяки не советовали.

В июле 1613 года короновался Михаил Федорович Романов. Но и он, и отец его – патриарх Филарет вначале не помышляли завладеть Яиком. С казачьем лучше не связываться. Свирепы, коварны, смерти и пыток не убоятся. Угроза от них велика, кровав урон: ходят на челнах по морю Хвалынскому, врываются на Волгу грабительски. Однако и польза от войска их огромна: заслоняют Русь от кызылбашей, хайсацкой орды, султану и ногаям в бок тычут саблями. И не одно еще столетие персидские шахи будут называть соседство с казаками – проклятием. Турецкие султаны замучаются опасливой бессонницей. Цари русские не единожды вздрогнут от ужаса. Первыми на Руси яицкие казаки запретят виноторговлю и табакокурение.

Яик протянулся на две тысячи верст с гаком – от моря Хвалынского до Магнит-горы, где руда железная водится в изобилии. Дальше, к северу, лежит Камень до самого Студеного моря. Казаки не любят диких гор. Они реку оседлали, будто коня. Башкирцы считают верховья Яика своей вотчиной и называют речку чуточку по-другому: **Яик!** Войско казачье закалялось в боях. И всегда одерживало победы. Ни одного поражения не потерпели яицкие казаки, хотя погибали в набегах, хотя осаждали их городок и хайсаки, и калмыки, угоняли табуны ногаи.

А начинался Яик с былинного казака Гаркуши, с ватаги Василя Гугни. Пробился Гугня на пустынную реку через татар. Ордынцы не любили воду, не знали в рыбе толку. И на всем необъятном пространстве нашли казаки слепого Гаркушу да одно стойбище. Пять братьев-пастухов, с ними молоденькая татарка, стадо овец да табун конский. Выломались они из орды по ссоре. Казаки зарубили пастухов, а татарку схватили за волосы, приволокли в станицу. Отдали ее в жены атаману. Так и звали ее с тех пор Гугенихой, поскольку стала она женой Василя Гугни.

В жены к свирепым казакам Яика редко шли девки с Волги и Дона. Обычай, бают, у казаков был таков: перед походом они убивали, рубили саблями своих жен и детей. А губили баб из жалости, дабы не оставлять на жестокие пытки врагам. Ведь когда казаки уходили в набеги, то их станицы оставались беззащитными... И налетали ордынцы тогда, и приканчивали жен казацких и детей. Потому и возник этот обычай...

Первым нарушил сие положение казацкого круга сам атаман Гугня. Собрались в наскок, но у него рука саблей не поднимается на черноокою полюбившуюся татарку. Ушли казаки в

набег, вернулись с добычей, а станица выстояла. Бабы сами отбились косами и вилами от налета ордынской шайки. И с того времени заструился родником непрерывный казачий род на Яике. До этого ведь не было рода казачьего... Пополнялись утеклецами с Волги, Дона, Московии...

Праматерью, родоначальницей всего гордого русского казачьего рода на Яике явилась татарка Гугениха. И пошли у всех дети, и завели станичники курей, хрюшек и коров, начали сеять хлеб, ставить добротные дома. С тех пор на всех пирах и празднествах наливали казаки первую чарку с возгласом:

– За здоровье бабушки Гугенихи!

Кто Гугенихой называл ее, кто Гугнихой – не в этом суть. Говорили, что счастье и благополучие будет тому, кто выпьет чарку за здоровье праматери казачьего рода! Да, начинался Яик с Гугенихи. Но возвысился он от Меркульева, Хорунжего, попа-расстриги Овсея, Егория-пушкаря, толмача Охрима, Богудая Телегина, Устина Усатого, Тимофея Смеющева, Федула Скоблова, храброго казака Рябого, великанши Пелагеи, кузнеца Кузьмы, Нечая, Ильи Коровина, Федьки Монаха, Герасима Добряка, с пленных татарок и донских баб, с утеклецов от орды и царя, с разбойников и злодеев, коих не дай бог вам увидеть даже во сне.

Цветь вторая

– Хорунжий грека заарканил! – пропетушил звонко Ермошка, вздыбив у дувана своего чалого жеребца.

Но атаман Игнат Меркульев и казаки даже не глянули на отрока, будто это воробей припорхнул, чирикнул бог весть о чем. В зернь играла вольница. Желтые из клыков слоновых кубики с кругляшами серебра и золота бросали и у войскового котла, и у атаманова камня, и у пушки, где спал пьяный поп-расстрига Овсей, и у дерева пыток, на суку которого вместо колокола висело громадное золотое блюдо. Рядом курились убогие избы, землянки. С дымом летели запахи ковриг, пирогов с осетриной, творога запеченного... Бабам подходить к дувану не полагалось. Они проходили к колодцу мимо – гордые, на казаков глаза не пялили, стать свою, вертлявость не показывали. У девок любопытство вылазило.

Хихикали, глазами зыркали, норовили поближе к дувану подобраться, но боялись нагаек. Выжгут по спине так, что кровь брызнет. Спина выдюжит, а сарафана жалко. Кожа на спине зарастет, сарафан не срастется! А Ермошка бросает на них жеребца, того и гляди задавит. Отгоняет подальше от дувана. Порядок блюдёт.

– Ставлю дюжину баранов! – басил Рябой, втыкая перед собой в землю турецкий клинок.

– Ты, мабуть, пей мочу кобыл, и дохлого верблюда поставишь? – загнусавил Устин Усатый.

– Играй на свою персиянку пленную, – предложил Федька-Монах.

– Мне она задаром не нужна! – осклабился Егорий-пушкарь.

– Прочь удались и меня ты не гневай, да здрав возвратишься! Энто так витийствовал древлегреческий гусяр Гомер! Снимай потому серьгу! – протянул руку дед Охрим.

– Дюжину баранов, – упрямылся Рябой.

– Из откудова у тебя дюжина? – прищурился Гришка Злыдень. – Одну животину с ногой полوماتой ты вчерась на вертеле зарумянил. Двух у тебя намедни зарезала волчица бешеная. Знахарке ты овцу дал. А самого жирного, златокудрого барана я энтой ночью у тебя, каюсь, уворовал!

Казаки загоготали. У Меркульева даже слезы от смеха брызнули. И Микита Бугай от хохота на траву запрокинулся. Рябой вскочил с клинком и бросился свирепо на Гришку Злыдня. Но тот вертко отбивался саблей и сам норовил проткнуть противника. Долго топотали они, задыхаясь от ярости, делая стремительные выпады.

– В пузо ему тычь, в пузо! – подсказывал Микита Бугай Злыдню.

– Слева, обманкой бери, Рябой! – советовал Тихон Суедов.

– Голову отсекай после отброса, голову! – возмущался Матвей Москвин неповоротливостью Рябого.

Казаки с глубоким знанием дела объясняли дерущимся, как быстрее прикончить друг друга. Рябой изловчился и в броске с подскоком отсек Злыдню правое ухо, распластал и плечо. Злыдень залился кровью, остановился растерянно на мгновение. Со всех плетней за стычкой наблюдали девчонки, голопупые казачата. Персиянка уже бежала с ухватом на выручку своего господина – Рябого.

– Ну, будя, будя! Гром и молния в простоквашу! – встал Меркульев, отталкивая в сторону Рябого, загораживая грудью Гришку. – Пошутковали, порезвились маненько – и довольно!

Гришка Злыдень подобрал в пыли свое отрубленное ухо и, чертыхаясь, побрел к Евдокии-знахарке. Мабуть, пришьет Бабка Евдокия – колдунья, травознайка. Она все умеет: и жар снимет, и кровь остановит, и дурной глаз отведет, и парня к девке присушит. Вместо собаки у знахарки в избе волк живет. Есть черная кошка, черная ворона – говорящая. Окровавленный Злыдень оборачивался, грозил кулаком:

– Я еще проткну тебе пузо, жопа рябая!

– Энто тебе за барана златокудрого! – отпыхивался Рябой, вытирая саблю, ощупывая на лезвии свежие зазубрины.

Вскоре на дерево пыток прилетела знахаркина ворона. Она повертела головой и произнесла картаво:

– Гришке ухо отрубили!

Казаки переглянулись. Меркульев подошел к дереву пыток, поглядел на ворону и попросил:

– Повтори, что ты сказала, чертова ворона!

– Гришке ухо отрубили! – снова гаркнула птица.

– Об этом мы узнали раньше, чем ты, – скривил губы атаман.

Ворона подпрыгнула, взмахнула крыльями и полетела по станице. Она садилась на каждый кол, кланялась и сообщала бабам:

– Гришке ухо отрубили!

Бабы крестились, кормили удивительную птицу крошками хлеба, кусочками сала. Задобрить лучше уж нечистую силу. Федька Монах вон как пострадал из-за энттой вороны. Прицелился как-то, выстрелил из пищали по птице, а оружия взорвалась, на куски разлетелась! Остался Федька Монах без правого глаза. С тех пор все казаки зауважали ворону.

– Здравствуй, Кума! – обычно приветствуют ее станичники.

– Здравствуй! Здравствуй! – отвечает всем веселая ворона.

Кума часто ездит с Егорушкой знахаркиным в дозоры на Урочище. Сидит на плече у парня, головой вертит, посматривает на всех насмешливо. Известна эта ворона и вороватостью. У Дарьи Меркулевой серьги сперла проклятая. Унесла их своей знахарке. И – концы в воду!

Ермошка гарцевал на Чалом возле дувана, отгонял девок подальше. Он поглядывал в степь, прикрывал ладонью глаза от раскаленного солнца. Не обиделся он, что на него не обращают внимания казаки. А поединок Гришки Злыдня и Рябого развлек его. Забавно было. Ежли бы не атаман, полетела бы в бурьян ушастая голова Злыдня. Могучий казак Емельян Рябой. С ним, пожалуй, токмо Остап Сорока на саблях управится. Впрочем, мог его порубить и Матвей Москвин. Ловок, искусен, драке на саблях с детства был обучен Матвей. Ходят слухи, что из роду он знатного, боярского. Бают, бежал в казаки его дед давно, от гнева Ивана Грозного. Но суров порядок войскового братства. Спрашивать силой невозможно казака, откуда пришел. Все равны казацкой вольнице на Яике.

Чалый косил глазом, стриг ушами, хвост – дугой. Не может спокойно на месте стоять такой конь. Кузнец Кузьма подарил Ермошке Чалого еще жеребенком. Не конь, а огонь! И сабельку булатную дал кузнец за просто так Ермошке. Дивился тогда писарь Лисентий Горшков. Конем казака облагодетельствовать – не диво. Угнал табун у хайсаков или ногаев – и раздаривай. А сабелька булатная дорого стоит. Не каждый боярин на Руси приобретает такое сокровище. Сплошная подозрительность. С чего бы это кузнецу одаривать богато сироту, голь, голутву? Хитрит кузнец. Дармового молотобойца получил. Ермошка здоровый парнишка, рослый. Четырнадцать лет ему, а он – богатырь! Цельными днями иногда бьет кувалдой по наковальне, помогает кузнецу сабли ковать. Кузьма, говорят, секрет булатный не раскрывает. Гордыня его или жадность мучают, должно.

Евдокия-колдунья шепнула Дарье Меркулевой, что секрет-то булатный кузнецу Ермошка подсказал. Так или не так – сказать трудно. Но грозитя коваль всю станицу, все войско булатом вооружить вскоре. А Ермошка – сирота, отец у него в бою погиб. Мать – Марья – на сенокосе пропала в прошлое лето. Налетели хайсаки, а она не захотела в полон. Отбивалась косою, вилами. Двух узкоглазых к Аллаху отправила: насмерть одного порезала, другого вилами прошила. Проткнули Марью из лука, стрелой в спину. Одиноким живет с тех пор Ермошка. Но девки на него уже начинают поглядывать.

...Хорошо жить, когда есть добрый конь, сабля булатная! Пускай коня в галоп, ставь на дыбы, нюхай терпкий пот жеребца, купай его в Яике. Корми коня хлебом с ладони, учи в бурьян залегать, от врага прятаться, учи свист призывный понимать. Конь добрей человека, с конем не пропадешь. Ермошка – казак! Не смотрит на него пока атаман со товарищи. Не глядят, потому как войску казацкому по наказу круга Ермошка еще не служит. Он сам в дозоры уходит, добровольно, из любопытства. И в набег его однажды брали вместе с Егоркой – внуком знахарки. Ермошка и Егорка потайной обоз гнали с припасом для войска.

С высокого крыльца атамановой избы на дуван поглядывали Олеська Меркульева, Грунька Коровина, Верка Собакина. Ермошка и показывал перед ними свою лихость, хотя делал вид, что не замечает девчонок.

– Не пыли, Ермолай! Слезь с коня! – рокотнул Меркульев, поднимая войсковой жбан с квасом. – Надоел! А духота-то какая... должно, к дождю. Уймись, Ермолай!

Это уже было признанием того, что Ермошка на белом свете существует. Не так уж плохо для начала. Атаман и казаки не ведают, чего насмотрелся он в дозоре. Знай, они бы усадили его на атаманов камень с почетом, устроили бы уважительный допрос. Дозор ведь долго еще будет тащиться с пленным греком. А Ермошка все видел, все слышал. В полдня – переход, у верблюжьих солончаков взял конный дозор одинокую ногайскую повозку с войлочным шатром. Ногая-татарина-проводника изрубили саблями для потехи. Да и разговору душевного с ним не получилось бы у казаков. В кибитке на колесах нашли купца с женой, тюки с товарами. Успели заметить, как гостья сглотила драгоценный камень. Герасим Добряк, не слезая с коня, выволоч за волосы чужеземку, подбросил ее в воздухе, как чучело на учении, махнул саблей. И скатилась в ковыли голова с выпученными глазами. Не будет вдругорядь самоцветы глотать, дура!

– Не губите меня, христиане-казаки! Я узе все исполню! Ах, глупая моя Сара! И зачем ты была такая жадная? Разве можно проглотить все сокровища на земле? Ах, глупенькая моя Сара... Братья-казаки, я всю жизнь вас кормил и одевал. Я узе гость, Соломон Запорожский! Я ваш брат! Я шинкарь – бедный еврей.

– Не еврей ты, а грек! Я твой шинок в Астрахани грабил. Пошто сызнава за еврея себя выдаешь? Давай самоцветы! – протянул руку Хорунжий.

– Она проглотила с перепугу всего два камушка, вот узе остальные... Я дарю их вам на вечную дружбу! – причитал Соломон, бледный, покрываясь дрожащими каплями пота.

– Сполосни камни в ручье, оботри! – заорал Хорунжий, поглаживая подбритую по-старшински бородку, с усами в кольцо вокруг рта. Его кольчуга и шелом искрились под солнцем, сабля играючи снимала колючие маковки татарника. Соломон шустро, на четвереньках бросился к воде, вымыл самоцветы и подал их подобострастно Хорунжему.

– Дарю их вам, атаман! На дружбу!

– Знатные камни, энтот голубой – сапфир! – восхитился Илья Коровин, осаживая кобылу.

– Я в них не понимаю! – лениво отмахнулся Герасим Добряк. – Я бы их детишкам бросил играть.

– Позвольте мне, князь, схоронить, предать земле мою любимую Сару, – попросил бедный пленник.

Он рвал свои редкие волосы, целовал мослатые ноги жены, одергивал подол ее заголившейся юбки.

– Схорони, – согласился Хорунжий, хищно посматривая, как его товарищи шарпают повозку, роются в мешках.

– Курево-гашиш! Это нам без надобности! – разочарованно сказал Герасим Добряк. – И табак без надобности. На Яике не курит никто, окромя толмача. Да и тот курит тайком, могут побить.

– Сукно и парча! – радовался Нечай, отрывая на портянки два куска синего китайского шелка. – А в кожаном мешке что? Тю! Серебро! С полпуда! Серебряные ефимки!

– Пистоль я себе возьму, – протянул руку Ермошка.

– Все на дуване разделим! – нахмурился Хорунжий.

Соломон выкопал яму, уложил бережно свою Сару на галечное с песком дно, слепил ее отрубленную голову с изуродованным туловом и запричитал на чужом языке.

– Прекрати завывания! Мож, ты колдовство наводишь? Зараз в огонь угодишь! А то – в куль и в воду! У нас – один разговор! Мы ить казаки, с Яика! – опять ткнул легонько пикой пленника Илья Коровин.

Соломон окончательно испугался, замолчал, поспешно забросал жену травой, а затем землей. Он накатил, жияясь, на могилу белый камень, стал нацарапывать на нем какие-то знаки.

– Ермошка, лети в станицу. Доложь обо всем Меркульеву! – приказал Хорунжий.

Легко и солнечно летел Ермошка на Чалом через солончаки, через степь к излучине Яика, где курился дымками казачий городок. Но из березовой балки выскочили встречь неожиданно на мохнатых монгольских лошадках три поганных ордынца. Один – рыжий старик. Два – молодые, жидкие. Взяли они Ермошку в полукруг. Пока развернешь коня наутек – в аркане затрепыхаешься. Али стрелу всадыт промеж лопаток. В одно мгновение решил Ермошка – прямо скакать, на рыжего старика. Пригнулся к шее коня Ермошка, саблю булатную вскинул, чтобы вервь отбить, ежли полетит петлей. Рыжий ордынец удивился нахальству, но аркан метнул хитро, умеючи, с левой руки, косым закрутом. Ермошка едва увернулся, чуть с коня не слетел. Сравнялись они конями в этот миг. У хайсака борода рыжая, глаза зеленые, злые. Полоснул Ермошка рыжего саблей по шее. Показалось, слабо ударил, царапнул. Развернется рыжий, быстро натянет тетиву, пронзит стрелой. Холодок по спине пробежал. Оглянулся Ермошка трусовато, а рыжий с коня валится. Упал! Закричал Ермошка от радости, загукал. Ратуйте, люди добрые! Дивись, Яик казачий! Торжествуй, Русь родимая!

На вершине увала вдали показался всадник. Его позолоченный княжеский шелом блеснул на солнце. На всем Яике такой шелом один – у Хорунжего. Ордынцы струсили, бросили рыжего старика, поскакали к реке. Кони их нырнули в овраг. Всадники исчезли в березняке. Но Ермошка не понял ордынцев. Думал, что они по другому рукаву балки отсекают его. Еще раз берут в ловушку. Удирал Ермошка от ордынцев. Ордынцы удирали от Ермошки. Жестокая степь, жестокая. За каждым кустом чилиги гибель таится. Но вот и городок, обнесенный тыном и земляным валом с трех сторон, с четвертой стороны – река. Дуван и дерево пыток с подвешенным вместо колокола золотым блюдом видны издали. Мельница-ветряк машет крыльями. Селитроварня чадит.

Дуван – это возвышенное место в казацкой станице или городке, где делят добычу, выбирают и свергают атаманов, судят провинившихся, принимают решения о набегах, собираются на круг. Нет ничего выше казачьего круга. Что порешит круг – тому и быть. На казачьей земле круг выше бога! Бывают и утайные советы старшины. Но супротив круга они бессильны.

Случаются и гульбища на дуване, но редко. Чаще бесцельно сидят казаки у атаманова камня, играют в кости, царя ругают. А зачем царя мордовать? Царь не правит Яиком. Казаки – народ вольный. Никогда московитяне не владели казачьим Яиком. Москва сама по себе. Яик Горыныч – сам по себе. Никто не мог покорить и завоевать эту землю. У кызылбашей – руки коротки, у султана – страх, у ордынцев – кишки слабы, дикие башкиры к реке и морю не выходят из лесистых гор. Москва боярская опустилась до того, что в ней поляки бражничали, казну грабили. Гришка Отрепьев царствовал! Конечно, самозванца и шляхтичей побили. Но царя-то не настоящего поставили. Собрались и выбрали царем Михаила Федоровича Романова.

– Ежли Иване Грозный и Борис Годунов не покорили Яика, то Михаил Федорович и помышлять о том не станет. Вечной будет у нас казачья воля! – уверял Силантий Собакин.

– Но в клещи железные берет нас Московия, – размышлял Охрим. – Сибирь взяли, доберутся и до нас.

Казачи прислушивались больше к толмачу. Он куренным был в Запорожской Сечи, на Дону атаманил, в Москве хранителем книг стал у князя Голицына, на турецких галерах рабствовал.

Ермошка пытался утишить Чалого, он бил копытами, заглушал слова деда Охрима.

– Не пыли! – еще раз гаркнул Меркульев.

– Грека дозор взял! – снова доложил Ермошка, ловко спрыгнув с коня.

– Ты и турка от калмыка не отличишь, а заладил: грека! Грек на Яике никогда не появится. К нам даже купец Гурьев боится ходить. В устье Яика сидит, ждет, когда мы ему икру и осетров взять позволим. Хотя сам не из робких, говорят. Опасно у нас, выгоды и торговли нет! – отмахнулся Меркульев.

Ермошка отпустил коня, перекрестился степенно:

– Истинный хрест, живого грека на солончаковой пойме Хорунжий заарканил. За еврея себя выдавал грек!

Казачи прекратили игру в зернь. Прислушивались. Девчонки шеи повытягивали, совсем к дувану подошли, чтобы новость схватить и бежать к матерям, бабкам. Тихо стало на дуване. Слышно, как стрекочут кузнечики, жаворонки заливаются. Все смотрят на него, ждут, что еще поведает Ермошка. Теперь солнце в его оконце. Можно не торопиться, помолчать. Подивятся еще казаки не так, когда узнают – кто верхового ордынца срезал.

Ермошка прислонился к пушке, извлек сабельку булатную из бархатных ножен. Вот они, черные пятна крови на сабле. Почему же никто не спрашивает, как он булат окровавил?

– Сурков саблей рубил? – спросил Лисентий.

Скажите, люди добрые: разве можно так оскорблять казака? Но молчат люди. Шепните, ветры буйные: унесете ли вы на своих крыльях гнев униженного? Не шепчут ветры об этом. Ответьте, реки синие: уместится ли в глубинах ваших обида отрока? Холодеют реки...

Меркульев ошупывал висящее на дереве пыток блюдо. Знатное, великое блюдо. Можно из него трех верблюдов кормить. Золота, должно быть, полпуда, не меньше. Какой-нибудь царь в древности угощал из этого блюда почетных гостей, послов и гусяров. В кургане могильном нашли блюдо давно, еще при Ваське Гугне, говорят. А поделить не могли. А может, из презрения к золоту порешил казачий круг подвесить блюдо на дерево пыток вместо сигнального колокола. Рядом оглобля дубовая валяется. Ударишь оглоблей по блюду, запоет оно на всю станицу. Тревога поднимется. Зело побито это золотое блюдо. Много вмятин на нем, много тревог было. Звери и птицы диковинные начеканены на блюде. Но побили основательно дубовой оглоблей этих птиц и зверей.

Из березняка выехали всадники. За ними два буйвола тащили ногайскую повозку с войлочной кибиткой. Буйволов погонял хворостиной Герасим Добряк. Он зимой и летом носит мохнатую баранью папаху, его легко узнать издали. Илья Коровин выделялся красной палаческой рубахой, ехал о двуконь. Хорунжий на белом иноходце впереди, к седлу конец аркана приторочен. А у казаков сроду седел не было, не говоря уж о шеломе позолоченном – княжеском. Шелому Меркульев завидует, зарится на него. Князь Дмитрий Пожарский со своей головы этот шелом Хорунжему пожаловал.

За белым конем Хорунжего плелся на аркане пленник. Дылда Нечай рыскал борзо на татарской лошадке, то оглядывал степь, то подхлестывал нагайкой полумертвого от ужаса чужеземца.

Дозор прошествовал через толпу казачат, девок, баб и старух.

К дувану торопливо шли казаки, хотя сигнала тревоги не было. С дальних станиц скакали верховые.

– Грека заарканили! – каркала возбужденно знахаркина ворона, летая по станице.

- Грека заарканили! – радовались ребятишки.
Не каждый день такое бывает. И пыткам быть страшным.
- Ермошка, энто ты ордынца у березового оврага срубил? – спросил Герасим Добряк, когда буйволы подтащили повозку к дувану.
- Рыжего?
- Дась, рыжего!
- Если рыжего, то я!
- А что ж ты его не обшарпал, дурень белокудрый? У него и сабля добрая, и аркан шелковый, и сапоги бухарские, и динары золотые были за поясом в кошеле.
- Так давай, не откажусь! Я рыжего ордынца в стычке срезал, моя добыча!
- Сапоги и тряпки с арканом возьми, а кошель с динарами золотыми я потерял, обронил по дороге, – бросил Герасим Добряк узел.
- А сабля где? – вздохнул Ермошка.
- Сабля мне понравилась, – улыбнулся Илья Коровин, кланяясь дувану.
- Не будешь вдругорядь бросать добро в степи, – заключил Хорунжий.
- То, что нашел в степи, взял в одиночном бою, – на дуване не распределяется.
- Не горюй, Ермоша, – подбодрил юного друга подошедший кузнец Кузьма. – Завтреча мы с тобой вытянем у них все золото за булатные клинки.
- На воде вилами писано! – съязвил писарь Лисентий.
- У нас уже вылеживается дюжина сабель булатных, с рисунком гремучей змеи, – объявил Кузьма.
- Первую саблю мне – погрозил пальцем Меркульев.
- Вторая – моя... бросаю кошель золотых! – ястребино сверкнул черными глазами Хорунжий, кинул в небо купеческий подмышник с кругляшами.
- Ставлю дюжину баранов! – тупо произнес Рябой.
- Кузнец поймал мошну Хорунжего, спрятал ее за поясом.
- Бери и мой, а то без булата останусь! – метнул Кузьме Герасим Добряк кожаный мешок, что вытащил из-за пояса рыжего ордынца.
- Не оставь меня без сабли. А лучше секретик булатный продайте. Завалю золотом, – мельтешил Лисентий Горшков.
- Рослый Нечай отвязал конец аркана, что был приторочен к седлу Хорунжего. Он перебросил вервь через толстый сук дерева пыток, вздернул пленника на дыбу. Без пытки невозможно обойтись. Человек утаит мысли. Иноземец под землей их спрячет.
- На огне поджарим... али кожу сдерем? – спросил Герасим Добряк.
- Ты, действительно, – Добряк! – улыбнулся кузнец Кузьма.
- А из тебя казака не выйдет! – ткнул кузнеца кулачищем Коровин.
- Сей грек выдавал себя за еврея, – сказал Хорунжий.
- Поджарим! – крикнул Матвей Москвин.
- Подпалим! – согласился миролюбиво Егорий-пушкарь.
- Зарумяним, как барана! – одобрил Меркульев.
- Туды его в бога-бухгая мать!
- Мордастый, краснорожий Никита Бугай уже ломал хворост, складывал его под ногами вздернутого на дыбу пленника. Герасим Добряк извлек из глубокого схорона в штанине трут и кресало, начал высекать искры. Дерево пыток обрело свой вид. Две мощные ветви, как две руки, молитвенно простирались к небу. С одной стороны висело золотое блюдо, с другой – полуживой человек, пленный.
- Братья-казаки, не губите меня, – заговорил он. – Какой вам прок от моей смерти? Вы, я вижу, люди богатые. У вас много золота, но нет шинка, лавки с товарами. Я открою у вас шинок, завалю вашу землю шелками, персидскими коврами. Я привезу пищали на пять пол-

ков! У вас пищали, вижу, старые. У меня есть лавки в Стамбуле, в Бухаре, в шляхетской Варшаве, в Гамбурге... Меня знают запорожцы, турки, ливонцы. А казаки всегда были для меня родными братьями. Я – Соломон Запорожский. Чем я хуже евреев, которых вы не трогаете?

– Не брешет, не брешет. Я помню его по Запорожью! – вмешался толмач, дед Охрим. – Это zelo честный торгаш. По заморскому походу его тож знаю. Он порохом и горилкой снабжал наше войско. В долгу мы остались перед ним. Так мы и не отдали ему деньги, потому как все почти тогда погибли. Клянусь, це достойный купец. Ищет токмо большую выгоду. Рискует, яко казак. Но неможно позволить ему торговлю вином. Он всех обдерет. Да и губит вино человека! Винопитие потребно запретить!

– Как ты попал на Яик? – начал допрос Меркульев. – Кто тебя подослал? С каким умыслом хотел выдать себя за еврея?

– Братья-казаки! Жидам все дороги открыты. А других купцов вы грабите, лишаете живота... Я был в Персии. Мы сели на корабль с купцами, чтобы попасть в Астрахань. Но жестокая буря целую неделю носила нас по морю. Затем плыли мы вверх по вашей реке, ибо заблудились. Погибли все, кроме меня и моей прекрасной женушки Сары. У нас под одеждами были надуты бычьи пузыри. Сорок дней мы сидели на берегу, подбирали то, что выбросили волны. Ногайцы продали мне эту повозку, дали проводника. Я бы добрался до Астрахани, но разбойники, то есть братья-казаки, убили возницу. Они убили мою бедную Сару!

– Ведьма самоцветы сглотила, – пояснил Хорунжий атаману.

– Можно было дать ей постного масла с татарским мылом или слабительной соли и посадить на горшок, – жалобно возразил Соломон.

Казаки захохотали. Представили они, как Хорунжий, Герасим Добряк, Илья Коровин и Нечай угощают иноземку конопляным маслом, усаживают на горшок. Мол, будьте великодушны, ясновельможная Сара, попукайте, покакайте! Мы нижайше просим вас об этом от всего казачества, от всего вольного Яика!

– Хо-хо-хо! Гром и молния в простоквашу! – гудел атаман Меркульев, похлопывая себе по икрам. – Развеселил ты нас, Соломон! Потешил!

– Оставьте меня в живых, и вы ухочетесь: я оставлю вас без единого серебряника, – пытался остричь Соломон.

Меркульев посмотрел на пленника своими выпуклыми синими глазами пытливо и пристально.

– Зажигать костерок под ногами? – спросил Герасим Добряк, раздувая тлеющий трут, подсовывая под огонек пучок сухой травы.

– Погодь! – остановил его Меркульев.

– Лучше в куль да в воду, чтобы не вонял. И давно мы иноверцев не топили. Нарушаем священные обычаи: за здоровье бабки Гугенихи редко пьем, воров огнем палим, а не топим в кулях, – обратился к народу Михай Балда.

– Атаманят у нас донцы, запорожцы. Исконь казачью яицкую теснят, потому и обычаи нарушают! – выкрикнул Тихон Суедов.

– Персов режем, татарву жгем, а заполонили-то нас хохлы! – ехидничал Силантий Собакин.

– Купца в куль да в воду, а атамана Меркульева бросить! – завопил Василь Гулевой.

– Не суетись, казаки! Яик испокон веков был мудрее Дона, сильнее Сечи Запорожской, могутней всех врагов! – пропел слепой гуслиар.

– В куль пришельца да в воду! – неистово горланили безвылазные казаки Яика.

Безвылазные – это те, которые на Дон и в Сечь не ходили, Москву во время великой смуты не защищали и не грабили, далекими странами не прельщались. Но похвастать им было нечем, стали вытеснять их с атаманов.

Меркульев почувствовал опасность. Бывший атаман Силантий Собакин мутит воду. Камень за пазухой держит. Зависть и обида его скребет. Зазря его пожалели, без хлеба оставил станицы, войско загубил. Надо было казнить. Меркульев в атаманы вышел, помиловал Силантия.

– В куль да в воду! – хрипел Собакин.

– Кто жертвует для казни куль? – нарочито зевнул Меркульев, будто все это было ему безразлично.

– Пройдоху не жалко, жалко куль! – чистосердечно и простодушно признался Емельян Рябой, поскребывая свою вечно грязную, лохматую голову.

– Кто жертвует куль? – вперился Меркульев в Силантия Собакина. Все молчали, сопели. Жалко отдавать куль. За куль барана можно выменять. И холстина, и мешковина конопляная на Яике ценятся. В куль сподручнее царскому дьяку, низложенному атаману, дворянскому отродью.

– Инородца в куль утопить – непростительное мотовство! – пискляво сказал Лисентий Горшков. – Вербью на шею камень примотать... и бросить с лодки в реку. У меня есть старая и сгнившая вервь, жертвую!

– Благодарю за щедрость! – скартавил Соломон.

Поп-расстрига Овсей давно проснулся, но лежал у пушки, поглядывал через прищур на происходящее, прислушивался. Вскочил он резко, неожиданно:

– Сказано, казаки, в Откровении: пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны... и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы! И вообще, невозможно реку Яик говном поганить. Я осетрину вашу после этого жрать не стану. И где вы, казаки, выкопали этого тощего уroda? И какая угроза от него исходит?

– Развяжи ему руки, сними с дыбы, и он всех передушит! – съязвил дед Охрим.

– Не в том соль! – посадил толмача Меркульев.

Микита Бугай от волнения сломал о колено дубовую оглоблю, что валялась под деревом пыток, опять про бога-бухгая и мать упомянул.

– У дурака руки чешутся! – хихикнул Матвей Москвин, страхивая пушинку со своего зеленого шитого серебряной нитью кафтана.

– Раздор не к добру! – высказался и Федька Монах, поглядывая с ненавистью своим единственным глазом на летающую над дуваном знахаркину ворону.

– Смерть врагу! – бросила птица, сев над головой пленника.

– А ворона-то Кума умней Охрима, – подбоченился Богудай Телегин.

– У нас нет причин для казни гостя... – вмешался кузнец Кузьма.

– Можно и помиловать греку, – согласился Герасим Добряк, чем всех всполошил. Казаки смотрели на него с изумлением, ждали, что он скажет еще.

– Снег выпадет на Успенев день пресвятой богородицы! У Герасима Добряка ангельские крылышки из-под лопаток вылазят! – визгнула Маруська Хвостова из толпы баб.

Балда защелкал нагайкой, отгоняя от дувана осмелевших казачек, а Маруське Хвостовой врезал по пышной заднице так, что юбка лопнула, пятно заалелось. Герасим Добряк поклонился казацкому кругу:

– Не будем зверьми, помилуем купца! Для чего с него кожу снимать? Для чего жечь шкилет на костре? У меня слезы текут от сочувствия и жалости к нему. Со просветления я предлагаю не казнить его, а выколоть глаза, отрезать язык и отпустить в степу. За эту доброту бог поместит нас в рай.

Поп-расстрига Овсей мотнул крестом на цепи, поправил пояс, за которым торчал громадный пистоль, сдвинул на бок длинную самодельную саблю, поморщился недовольно и заамвонил:

– Сказано в писании священном: я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами... Взыщется кровь пророков... Посмотрите, гляньте на себя, казаки! Душегубцы вы и кровопивцы! Сплошь страхолюдные хари! У тебя, Микита Бугай, рыло не влезет в бочку изпод соленых грибов. А ты сидишь и ломаешь прутики, дабы спалить на костре человека. А на кого похож ты, Емелька Рябой? Ежли бы богоматерь увидела тебя случайно, у нее бы от ужаса высохло молоко в титьках. И она бы не вскормила непорочно зачатого младенца Иисуса! А это что за палач в красной рубахе? Помесь льва-зверя и дьявола! Ты за одиночный удар, Илья Коровин, вздеваешь на пику, как на вертело, по семь ордынцев! Но для чего тебе нужна смерть этого занюханного торгаша? Нацельте очи, христиане, на вот этого казака в бараньей папахе: Герасим Добряк – самый божий человек на Яике. Но поставьте его на огород – и репа от огорчения расти перестанет! Птицы шарахаться будут, стервятники на лету от разрыва сердца умирать станут! Когда ты, Добряк, попадешь в ад, черти разбегутся с перепугу! Некому будет кипятить котлы со смолой. Я уж не говорю о вас, Силантий Собакин и Богудай-убийца Телегин. Сгинь, вор Балда! Загрустил ты на Яике при великой смуте, в Московию удрал, младенцев боярских на кострах жарил. За какого-то прадеда мстил. Весь в крови ты, Балда! А вы, Меркульев и Хорунжий, ограбили и пожгли семь стран. По ваши животы плачет кол в Стамбуле, виселица в Варшаве, дыба и топор – в Московии. Для Федьки Монаха и Устина Усатого святое место было от рождения – на галере в цепях турецких. Ан в судьи лезут, стервецы! Даже отрок Ермошка у нас с булатом на коне Чалом рыскает. Все вы, братья мои, изуверы, наполнены злом и жестокостью. Я бы проклял вас, но сам такой! Защищаю Русь крестом и мечом! Московия погубит святую Русь. Великая Русь с казацкого Яика возродится. Потому я с вами царя отвергаю, бояр ненавижу, врагов и ордынцев уничтожаю! Кайтесь... или дайте мне выпить за здоровье бабки Гугенихи, дабы я вам отпустил грехи. А грека этого отпустите, помилуйте! Явление мне было такое. Богородица с неба приходила...

– Корову не подоила богородица? Подштанники тебе не выстирала? – осклабился Герасим Добряк.

Хорунжий взметнул жбан с квасом, плеснул в лицо Овсея, освежил говорильника.

– Перечисли, святой отец, семь стран, которые мы с Меркульевым ограбили и пожгли.

– И назову! – стряхивал капли кваса с рыжеватой своей бороды отрезвевший Овсей.

– Называй! За каждую недоимку – семь ударов нагайкой!

– Башкирия! Хайсацкая орда! Персия! Турецкое султанство! Ногайская степь! Шляхетство посполитное! И Московия! – ликующе загибал пальцы Овсей.

– И вправду семь! – согласился обескураженно Хорунжий.

Меркульев хмурился. Болтовня расстриги Овсея его не трогала. Но Хорунжий плеснул квасом в поповское рыло и обрызгал невзначай белую с вышивкой петухами рубаху атамана. Желтые пятна расплывались по всему брюху. А рубаху отбеливала и вышивала цельной год дочка Олеська.

Но Хорунжий – быдло. Сам вечно в кожах грубых, в кольчуге, в шеломе витязя ходит. Живет бобылем, не умеет насладиться баней с веником березовым, дорогим кафтаном, перинной пуховой. Боров! Рубаху белую у атамана забрызгал и не моргнул оком. Вепрь! Не надо ему и еды с пряностями: сгрызет ржаную горбуху с бараньей лопаткой, проглотит кусок осетрины, наденет кольчугу... и – в дозор, в набег! Рубиться саблей умеет. А сообразительностью не блещет. Татарина-ногая, проводника, надо было допросить на дыбе. Не к Астрахани повозка шла. Сумнительны байки грека. Гость врет про корабль. Порох у него в пистоле сухой. И не турецкий – черный, а синий – казацкий, на селитре с лепестками васильков. Серебро в бочонке не могла выбросить река на берег. И все тюки с товарами сухи, не подмочены. На Яик стремился

купец, сам старался попасть в плен. Но для чего? Кто его все-таки подослал? Пожалуй, не кызылбаши, не султан. Скорей Московия. Наверно, в станице уже давно сидит царский соглядатай. Кто же это? Тихон Суедов? Писарь Лисентий Горшков? Слепой гуслер? Федька Монах? Надо понаблюдать за ними получше. Московия не смирится с вольностью Яика, попытается взять его. Плохи дела. Мож, схитрить: переметнуться к царю? Вон атаман у запорожцев поклонился шляхтичам, кошт получает. А купца этого надо пока отпустить. Дней через десять я его снова вздерну на дыбу, но не на дуване, а у себя дома, в подполе. Он у меня по-другому запоет сразу.

– Не губите меня, братья-казаки, не убивайте! Я закопал у реки в песке двадцать бочек доброго вина. Там же попрятал и товар другой, что выбросило на берег. Сукно и шелка я подарю вам на вечную дружбу. А вином вы разрешите мне торговать. Я не могу жить без шинка!

– Сам бог послал нам этого торгаша, – обратился к станичникам Матвей Москвин. – Помилуем его! Без торговли мы замрем. Золота мы много нашарпали, а детишки у нас голупые! И надоело пить сивуху Палашкину. Пора нам, как запорожцам, иметь шинки. Корчму поставить. Купцов пригласить! Пора нам в удовольствиях жить, соболями баб и девок украсить! Кольцами и серьгами с камнями самоцветными!

– К болярской жизни призываешь, Матвей? – помрачнел Силантий Собакин, играя угрожаяще клинком. – И не будут никогда наши казаки винопийцами и табакурами!

– А чем это хуже боляр казаки на славном Яике? – подбоченился Меркульев.

– Ай, и взаправду я похож на болярина? – закривлялся Герасим Добряк, спустив портки, показывая казакам свою голую исполосованную шрамами задницу.

– Срамота! Баб и девок бы постеснялся! – сплюнул Никанор Буров.

– Милуем или казним гостя? – громко спросил Меркульев.

– Милуем! Милуем! Милуем! – сдобрились казаки.

Впервые пленник на Яике уходил с дерева пыток живым. Поселили Соломона в избе деда Евстигнея, что запропал весной в степи, когда ездил за солью. Вместо Сары Меркульев выделил в работницы купцу двух татарок – Насиму и Фариду. Соломон долго сокрушался, ворчал недовольно, но в конце концов узкоглазых принял. Товары и бочки с вином казаки привезли обозом на другой день. Соломон открыл в станице знатный шинок, торговал бойко и весело семь ден, а на осьмой к вечеру он уже корчился на дыбе в подполе у Меркульева.

Цветь третья

Миновала макушка лета – сенозарный грозник. И духмяный густарь окудесил степи на Яике. Шелестели шелково ковыли, раздобрел чабрец, млела медуница. Наливались колося ржи червонным золотом. А скот затучнел – аж земля под ним прогибалась! Росли стога на заливных лугах. Помахивала крыльями ленивая мельница. Курилась ядовито-желтыми дымами селитроварня.

– Говья коровьи убери! – сердито буркнула мать Олеське.

– Уберу, никто на них не зарится, – отмахнулась девчонка.

– Бери лопату и убирай. И сарафан новый сыми. Чего вырядилась, как дура? До праздников далеко, – ворчала Дарья на дочь, уходя с коромыслом по воду к чистому колодцу.

Олеська сидела с Ермошкой на жердяном заборе. Они болтали ногами, шурились от солнца, подталкивали друг друга, грызли лесные орехи.

– Могу горохом одарить, – похвастался Ермошка.

– Угости.

– Возьми всю пригоршню. Стручки сочные, сладкие.

– У знахарки в огороде росли?

– У знахарки.

– Зачем же ты их, дурень, крал?

– А што?

– А то! Завтра ворона знахаркина будет летать по станице и кричать: «Ермошка горох ворует!»

– Не будет кричать, она с Бориской и Егорушкой в дозоре на Урочище. Да и любит она меня.

– Кто любит?

– Ворона.

– Тебя и Дуняша любит, сеструня моя.

– Дуняша маленькая. Двенадцать лет ей, да? Ну вот... а мне четырнадцать.

– И мне четырнадцать. И у меня тайна есть, – перешла на шепот Олеська, подталкивая Ермошку локтем.

На крыльцо из хаты выскочил босой Федоска, сопливый малыш Меркульевых. За ним вышла Дуня, сестра Олеськи. У нее тоже белая льняная коса, продолговатые зеленые глаза. Но она строже, прямей. Ходит, будто черенок от граблей проглотила.

– Говья коровьи убери, Дунь! – распорядилась Олеська.

– Уберу, – холодно ответила Дуняша, берясь за лопату.

– Пойдем к реке, Ермош? – спрыгнула Олеська с забора.

– Пошли.

– Не оглядывайся, не оглядывайся. А то влюбишься. Примета такая есть... А она-то так и выбуривает. Ну и Дуняха!

– Какая тайна у тебя, Олеська?

– Тайна у меня такая, Ермоша... Есть у нас ход подземный дома. Из подпола идет до обрыва речного, где шиповник густой. Когда погреб копали, наткнулись на это подземелье пустое. Речка там подземная была, должно. Батя не разрешает туда заглядывать, плеткой бьет. Но мы с Дунькой забрались намеренно в подземелье. В прятки играли. Там три пещеры есть. А батя наш приволок шинкаря, стал маненько пытаться его на дыбе в одной пещере. Зажег лампу и угрожал страшно. А нас он не заметил.

– Не бреш! Я шинкаря утресь видел. Живой он, хотя хромает...

– Я и не говорила, что до смерти пытал.

– Шинкаря мы уже пытали на дуване.

– На дуване он не сказал ничего.

– Что же купец в погребке выложил под пытками?

– А то, что его Московия подкупила. Ну, не сам царь... а воевода астраханский. Но был при том и дьяк московский. Есть у нас в городке соглядатаи царя, дозорщики. К ним купец и шел. Они должны донос, сказку царю подать... Ну, о том, с какой стороны войско, стрельцов на Яик послать. Зарится Московия на землю нашу.

– Соглядатаев сразу казнят на дуване. И пытки будут жуткие. Шинкарь выдал их?

– Нет, он их не знает. Они сами должны подойти с доносом. Но соглядатаи не подходят пока. Чуют беду или выжидают, не торопятся...

– Твоего батю не обманешь. Он выследит соглядатаев. Попадутся они в ловушку.

Разговор с Ермошкой у Олеськи не ладился. Она присела на опрокинутую лодку, вздыхала, смотрела сквозь ресницы, как это делает красавица Верка Собакина. И поводила плечами, подражая лебедушке Кланьке. Она пыталась зыркать пронзительно, как татарка Насима. Но Ермошка не чувствовал чар влюбленной в него девчонки. Родник разговора истошался.

– А у меня еще тайна есть! – боднула Олеська парнишку.

– Говори, так и быть.

– Мой батя понарошку отдал Насиму и Фариду в работницы шинкарю. Они следят за торгашом.

– За шинкарем и надо присматривать, – не удивился Ермошка.

– А у меня и третья, самая главная тайна есть! – отчаянно выпалила Олеська.

– Говори, так и быть.

– Выскажу, ежели ты на мне женишься! – побледнела Олеська.

– Так и быть, женюсь.

– Поклянись! Окропи меня своей кровью!

– Клянусь! – вяло сказал Ермошка, но вытащил из-за голенища нож, легонько полоснул по большому пальцу левой руки.

Кровь сначала выступила чуточку, а вскоре заструилась, обагривая всю кисть. Ермошка поднял руку, тряхнул ее над головой Олеськи, но нечаянно забрызгал и девчачий сарафан.

– Теперь слушай, – зашептала Олеська. – У нас в подземелье спрятаны двенадцать бочек золотых, двадцать – серебра и кувшин с разными камнями-самоцветами, серьгами, кольцами, ожерельями.

– Брешьешь!

– Клянусь! Вот колечко с камушком из того кувшина. Как звезда сияет! На мой палец подходит. И Дунька примеряла.

– Сапфир! У Соломона такой же по цвету взяли, токмо чуть покрупней. И заточен по-другому.

– Что ж ты меня не целуешь? – мокро блеснула глазами Олеська.

– Поцелую, так и быть...

Олеська горячо обвила Ермошку, вытянула шею, подставляя ему мгновенно вспухшие губы. Но он стиснул девчонку неуклюже, наступил на ее босую ногу сапогом, чмокнул в щеку.

– Ты и целоваться-то не можешь. И обращения нежного у тебя нет. Я ведь не корова, не черная девка! – надменно повела бровью Олеська.

Но Ермошка уже не слушал ее, наострил уши в сторону станицы. Там поднимали казаков. На дуване дозорный ударил обломком оглобли в золотое блюдо. Удары учащались: бом-бом-бом! Тревога!

– Что-то стряслось? – глянула испуганно Олеська на Ермошку.

А он сунул пальцы в рот, свистнул пронзительно. Раздался топот копыт. Чалый летел к своему другу от заливного луга, где медовилось в стогах сено.

– Беги домой, Олеська! – вскочил на коня Ермошка. Он махнул рукой и поскакал за оружием к своей хате.

Из-под лодки, где только что сидели Олеська и Ермошка, вылез слепой гусяр, заковылял к сбору. Видимо, спал под лодкой.

К дувану стекались казаки. Верхом, с пищалями, пиками и саблями, с припасом сухарей, готовые сразу выступить в поход. Меркульев и Хорунжий стояли у пушки, оживленно переговаривались с Ивашкой Оглодаем. Он прискакал с вышек из-под Урочища. Беда приключилась. Ордынцы подкрались ночью к сигнальной вышке, где сидели Егорушка знахаркин и Филька Хвостов – казак дюжий. Проспали Филька с Егорушкой. Но огонь сигнальный успели запалить. Долго они отбивались от ворогов на вышке. Побили их ордынцы стрелами. Саблями не могли взять. На трех вышках казаки проспали нападение, погибли. Орда вошла на Урочище.

Устин Усатый рассказывал казакам:

– Сидю я, значит, в дозоре, пей мочу кобыл... Сидю, глядю: прилетает энта знахаркина ворона. Села птица вещая на дерево пыток и глаголет мне: «Орда на Урочище!» Не поверил я нечисти. Не поднял тревогу. А зазря, пей мочу кобыл! К полудни опосля того прискакал Ивашка Оглодай. Жалко, казаки, мальчика Егорушку. Привез его Ивашка мертвого, поперек седла. Четырежды стрелами пробит насквозь, пей мочу кобыл! А у Фильки семь стрел в тулове торчали. Там он и остался, подле вышки... пей мочу кобыл!

– Фильку Хвостова не жалко. Пропойца, ярыга. И как токмо Марья его терпела? Но казаче был могучий. Осемь хайсаков они с Егорушкой побили. Хан Ургай вживучь их пытался полонить, должно. Но задача гусяра бачить не о происшедшем. А о том, што могло произойти... Це гутарил, казаки, великий грек Аристотель! – блестел лысиной дед Охрим.

– Опосля смерти ничего не происходит. Душа летит в рай, а тело черви едят. Да и кому начертана гибель – тот умрет. Егорка вон погиб, а Бориска, сынок кузнеца, живым остался. А на соседней вышке был! – рассудил сотник Тимофей Смеющев.

– Мож, знахарка воскресит Егорушку? Любимый внучок был, сиротинушка. Для родни колдунья-знахарка и живой воды раздобудет. Ась? – простодушно поднял брови Михай Балда.

– Балда и есть балда! – улыбнулся Матвей Москвин.

– Сам ты дубина стоеросовая! Пришила же знахарка ухо Гришке Злыдню. И приросло ухо. Накосо приросло чуток, свинячьему сподобилось. Но приживилось, однакось! Я самолично ухо трогал – за копейку. Даром Злыдень не дает ухо трогать, сами знаете. Белое ин такое ухо, бескровное, аки из холодца, студня. Но живое ухо! Хоть жени его! Скоро коросты сойдут, мож быть, порозовеет.

– А как мертвого Егорушку вызволили от ордынцев? – чавкал Микита Бугай, улетая ржаную горбуху с ломтем сала.

– Ивашка Оглодай заполучил сказку от братьев Яковлевых. Они сей же ночью на вылазку с другой вышки ходили. Егорушку унесли, семерых ордынцев зарезали. Фильку Хвостова не стали уносить. Мяса в нем много, тяжело тащить. И ордынцы возню почуяли.

* * *

Игнат Меркульев поднялся на атаманов камень. Затихли казаки, надо совет держать, думу думать на кругу. Дороден атаман, рубаха белая в петухах. Шаровары зеленые – суконные. Сапоги из кожи кабарги, коричневые. Шпоры на сапогах – серебряные. На всем Яике никто шпор не имеет. Хихикают над ними. Подпоясан атаман в семь-на-десять рядов вервью, арканом, как все казаки. Но аркан у него из алого шелка. Два пистоля заткнуты за поясом. Сабля при себе. Кремень с огнивом. Русочуб атаман, статен. Очи славянские, голубые с протемью, навывкате. Голова большая, что котел войсковой. Крупный бык. Толпу умеет околдовать. Вот он поклонился казакам, миру. Заговорил. Слова бросает, будто камни:

– Катится на Яик, казаки, орда несметная. Хан Ургай порешил изничтожить нас одним ударом. Проведали мы об этом, но не поверили. Вы не поверили. На кругу заключили оборону не готовить. Мы с Хорунжим на коленях стояли перед вами. Хотели крепость поставить, брод загородить цепями. Но ничего у нас нет. И невозможно удержать нам теперича эту дикую силу. Пол-орды привел Ургай. Туча грозовая на Русь обрушится, обрастет за счет ногайцев и других нехристей. Не одолеют ордынцы Руси. Но Яик казачий погибнет!

– Пострадаем за землю русскую! Примем последний бой! – поднял крест Овсей.

– Мы в стрельцы и солдаты на Московию не наняты. Надо пропустить орду на Русь. Договориться с ханом Ургаем. А мож и присоединиться к нему. Запорожцы с крымскими татарами часто соединяются. И русичей грабят, и шляхтичей. И нам надо выгоду блюсти! – заспорил Силантий Собакин.

– Яику невозможно докатиться до гнуса, иудства и вертлявости запорожской! – разгневался Меркульев.

– А ты не гуди, атаман! Не стращай нас очами! Мы думу думаем на кругу! Сговор с ордой нам не годится. Для боя силушки нетутя. А мы в степушку-матушку уйдем. И пусть орда со своими кибитками за нами погоняется! – ликующе предложил Богудай Телегин.

– Не можнучи битву принимать. Прав Богудай! Но и в степу опасно двинуть. Сдохнем там. И впереди осень, зима с лютнем. Померзнем с бабами и ребятишками. У нас кибиток войлочных нет. Ордынцы к зиме всегда готовы. А мы без хаты и землянки сгинем! – горланил одноглазый Федька Монах.

– Лучше на струги и в море Хвалынское, – перебил его Емеля Рябой. – Пока орда во степи кружит, мы заморье обшарпаем. В поход сбегает. Поживем по-казачьи.

– А баб и ребятишек куда денем? – спросил Хорунжий, хотя был вечным бобылем.

– Сами их саблями порубим по решению круга, дабы на пытки не оставлять. Как во времена Василия Гугни! – предложил Тихон Суедов, размазывая по лицу жирный пот.

– У тебя жена Хевронья, Тихон, страшной каменной бабы, что издревле в степи стоит... Такую чучелу-уродину изрубить не жалко. А у меня – молодая, красивая! Не жена, а княжна! – сокрушил Москвин потеющего Суедова.

– И моя Любава – царевна! – хохотнул Остап Сорока.

– Устинью в обиду не дам. Она у меня полутатарка-полурусская. Энто по крови. А душа у нее по-славянски светлая. Без нашей казачьей жестокости. Молодая бабонька, хорошая. Тройню, дура, родила. А они уже бегают и кричат каждое утро, как Ермошка Марьин: «Казачи живут отчаянно, умирают весело!» Со смеху умрешь! – смотрел в облака Антип Комар.

Слово дали Егорию. Он начал размахивать руками:

– Я пушку о двенадцати стволах изладил. Оно, конешно, кажную орудию выпестовал отдельно. Но вырубил в бревнах пазы, повязал все жерла вместе. Решетку запальную самотутошно изобрел. Коробку от ветру и дождика. Масленку для двенадцати фителей. Страшенная пушка. Бьет сечкой железной и снарядами огненными ужасней заморских мортир. Пробу мы провели с кузнецом Кузьмой. Вдарили по табуну сайгачному на водопое. Триста животов на берегу и в воде осталось! Платите мне из казны войсковой сто цесарских ефимков за пушку. Ставьте на брод. И отобьемся от орды! Не пройдет орда через пушку!

– Орда велика. Реки вороги и вплавь переходят воински. Пушка не спасет нас. Хан Ургай в разных местах через Яик пойдет. Но брод ему нужен для всей орды: кибиток, скота, бабаек с бабаятами. Надобно защитить брод! – стучал саблей Хорунжий.

– А что ты скажешь? – спросил Меркульев степенно у толмача Охрима.

– Не мельтешиться! – потер лысину Охрим. – Добро можно укрыть, попрятать в схоронах. Скот угнать в разные стороны. Да и пропади он пропадом. Главное – баб и ребятишек на струги посадить. А самим конно встреч орды выйти. Встанем в полукруг возле Урочища. Там ветры наши, запалим степь. Травы высокие, сушь. Вся орда может сгинуть от степного пожару!

Хорунжий и Меркульев переглянулись. У них был такой замысел. А для баб и ребятишек угрозы от ордынцев не будет никакой, если они в челны сядут. Ордынец силен в степи. А на воде он, как таракан в кринке с молоком.

И порешил казачий круг попытаться одолеть орду в степи огнем. Походным атаманом для набега на Урочище выбрали Хорунжего. Игнату Меркульеву поручь строгая: казачек и казачат голопупых посадить в лодки. Ежли орда прорвется через брод, удирать по воде к морю.

– Ты, Игнат, не обороняй брод кроваво. Стрельните раз и тикайте к челнам. И нам надобно схитрить. Чтоб Ургай не бросил тьму на брод. Я пошлю охотника. У меня уже просится на погибель дед сотника Тимофея Смеющева...

– Терентий?

– Терентий! Отпущу... жил он храбро, пусть помрет красно! Да и положено кому-то за товарищей пострадать.

– А я пошлю Насиму, – ответил Меркульев Хорунжему.

– Семь раз отмерь... Переметнется татарка. Всех загубит!

– Насима не переметнется. И сказка у нее будет простая: все вправду выдать, окромя пушки.

Хорунжий молодецки взлетел на белого коня, взмахнул булавой походного атамана. И поскакало казачье войско к броду. Миновали они брод и полетели в степь к Урочищу. А в станице хлопот – полон рот. Егорий-пушкарь потащил на быках к броду запасы пороху, сечки железной и свою страшилую на колесах о двенадцати стволах. Бабы подвозили на арбе бревна и камни. Меркульев повелел соорудить два укрепления возле брода. Укрепления славы получились, с бойницами. В левом укреплении установили пушку, в правом залегли сто матерых казачек с пищальями. Рядом с правым укреплением в камышах укрыли челны порожние с веслами. На случай быстрого бегства, ежли брод удержать будет невозможно. Двенадцать лодок-чаек покачивались, повязанные друг с другом. С другого берега их вроде бы не видно было.

К обороне, к бою готовились бабы. В станице всего четверо мужика осталось: Меркульев, Егорий-пушкарь, слепой гусяр и шинкарь. Гусяра Дарья к себе взяла. У Дарьи своя ватага – посильнее и многочисленнее, чем у Игната. Они усадили на струги и лодки ребятишек, старух. Набили в запас мешки сухарями и копченым мясом. Весла проверили, уключины салом смазали. На каждую лодку выделили по шесть дюжих казачек – на весла. Сорок таких стругов ушли в камышовые заросли, спрятались. Остальных баб Дарья распределила по лодкам-чайкам, вооружив пищальями, острогами для битвы осетров и секирами. Сто этих хищных лодок-чаек укрылись у островка посеред реки. Из-за островка, покрытого ивняком, можно было наблюдать и за бродом.

Меркульев не беспокоился за ватагу, которой верховодила Дарья. Лишь бы не ослушалась, не подошла на лодках к броду, под стрелы хайсаков.

Шинкарь Соломон принес в укрепление два кувшина вина. Разговорился с казачками и остался. Пелагея дала ему новую пищаль.

– Фитили не запаливать, пока ордынцы не покажутся, – предупреждал Меркульев войско в юбках.

– Ложись рядом со мной, бабский атаман! Объясни, как с пищалью обращаться? – озоровала Устинья Комарова, веселая кареглазая казачка, молодая женушка сотника Антипа.

– Он своей Дарьи боится! – подзудила Домна Бугаиха.

– Бабы, а ежли я сгину в этом бою... Мне ить уж скоро двадцать рокив. А я и мужика, парубка не обнимала ни разу. Так вот и помру неприголубленной! – загрустила Степанида Квашнина.

– А ты заведи ребеночка. Как я, без мужа! Вот он... какой хорошенькой мой Гринька! – подбросила трехлетнего карапуза Аксинья.

– На Богудая Телегина похож, – про себя отметила Олеська.

– Иди на струги, Ксюша! Неможно с ребенком здесь быть. Я уже говорил тебе: кровь у него из ушей хлынет, когда стрелять начнем. Быстро! Быстро! – сердился Меркульев. – И ты, Соломон, уходи. Воина из тебя не получится. Погрузи свое добро на струг. Остальное закопай в схороне. Ордынцы убьют тебя, ежели прорвутся. А ты нам нужен живым. Купцы нам нужны. Воины у нас есть.

– Мне узе тоже кажется, атаман, что лучше быть живым шинкарем, чем мертвым Македонским.

– Всех атаманов на Дону знаю. А про Маку Донского слышу впервые, – посмотрела Пелагея на Соломона сверху вниз.

Шинкарь и Аксинья пошли на струги. Забоялась нападения ордынцев и ушла с ними Зоида Грибова, которую звали в станице Зойкой Поганкиной. Меркульев наводил порядок. Казачки все умеют стрелять, об этом и спрашивать не надо. Атаману нравилось, что в укрепе лежала с пищалью его дочка Олеська. Казачка! Меркульевская кровинка. Девчонка болтлива. Но вырастет – остепенится. Толмач Охрим портит Олеську виршами, историями, грамотейностью. Ну для чего девчонке, казачке, какой-то древний виршеплет Горлаций? Кому нужна на Яике латынь? На всей казачьей земле от Хвалынского моря до Камня нет ни одной библии! Церковки захудалой нет! Службу правят изредка расстриги залетные, бродяги и пьяницы.

– Пушка о двенадцати стволах готова к бою! – храбрился Егорий. – Одним выстрелом уложит тыщу басурманов!

– Сечкой железной зарядил? – спросил Меркульев.

– Железной!

– А как ты сунешь один фитиль сразу в двенадцать дыр?

– Он одну дырку выберет, котора получше! – сохальничала Марья Телегина.

– Голодной куме – одно на уме! – покачал головой Меркульев.

– Уж нельзя и пошутковать перед смертью, – поджала губы Бугаиха.

– Пошутковать лзя! Очень даже лзя! – ответил атаман.

Устинья Комарова, Лизавета Скворцова и Нюрка Коровина перешли по указанию атамана в левый укреп. В одиночку дед Егорий пушку не перезарядит быстро при надобности. Перебрались туда с пищальями Нила Смеющева, Серафима Рогозина и татарка Фариды. Других баб и девок Пелагея к Егорию не пустила.

– Атаманствуй над этим укрепом, Пелагея! А я тож буду у пушки, кабы чего не вышло там при нападении ордынцев, – пошел Меркульев к Егорию.

Клаша, невеста Нечая, подвезла полвоза соломы, куль с ковригами ржаного хлеба, копченой осетрины, корчаги с варенцом.

– Стели, бабы, соломку! Мож, ночевать придется. Хлеб делите. Не пойдут ордынцы на брод, пока не сразятся с нашим войском.

Лукерья Кузнечиха и Анисья Волкова бросили пищали и пустились было в пляс, но заметили мрачную Хвостову. Она шла к укреплениям в черном платке, бледная, чужая. Фильку горем поминала. Все-таки Филька был кормильцем. Спяну, должно, погиб на сторожевой вышке. И не похоронили его, не закрыли глаза руки родные. А Егорушку вся станица перед походом хоронила. Улетела его душа в рай на белых крыльях. Значит, встретился Егорушка с матерью в раю. И сидят они в розовых куцах, слушают музыку чудную. Ангелы подают им на золотых блюдах гусей жареных в тесте, севрюгу в сметане, икру черную зернистую, урюк сладкий и яблоки хивинские. И сто баранов на вертелах в раю жарятся. И сам бог от них мух отгоняет. Хорошо живется в раю! Не грозят там ордынцы смертью и муками. Нет на небе мора и голоду. Нет болезней и черной зависти. И на дыбе люди не корчатся!

– Ордынцы! Ордынцы! – каркнула прилетевшая невеста откуда ворона Кума, выводя Олеську из блаженного раздумья.

На ворону никто не обращал внимания. Птица обиделась, взмахнула крыльями и улетела в степь к Урочищу. Дед Егорий объяснял атаману устройство пушки...

– Фитили у пушки вот на этой откидной решетке. Они горят все сразу, непрерывно. Горят, как двенадцать божьих лампад. Надось токмо повернуть уключину... И выстрелят сразу все двенадцать стволов!

– Хитроумно! Но поглядим в деле. Товар силен похвальбой, а пушка – стрельбой!

К броду со стороны станицы прискакала на вороном Дуняша. Все поняли, что весть принесла какую-то от Дарьи.

– Отец! Тять! Сбежала от шинкаря Насима. Переправилась через речку с конем и сиганула в орду!

– Ты сама, дочка, видела? – пронзительно глянул на Дуняшу Меркульев.

– Мамка видела. Больше никто не видел.

– Если Насима предаст Яик, бог ее накажет, – неопределенно пожал плечами атаман.

– Я поскакала! – сказала Дуняша.

– Скачи, пока скачется! – подтянула плат Устинья Комарова.

– Прощай, Дуня! – поиграла пальчиками Олеська. Дуняша не ответила сестре. Она ударила голыми пятками в бока вороного, вздела его на дыбы и отпустила с ярого прыжка в бег.

Бабы зашептались в укреплениях. Мол, недотепа атаман. Вскормил змею. Жила пленная татарка Насима у Меркульевых с детства. Кормили, одевали и холили ордынку, как дочь. Но вот что-то произошло непонятное. Атаман вдруг отдал Насиму в работницы шинкарю. Мож, Дарья его стала ревновать к татарке. Кто знает... Насима – девка красивая. А почему она в орду удрала? В орде голодно. Хлеба никогда нет. У шинкаря работницей быть – одно удовольствие. Взял у казака алтын, налил вина. Пей, казак, за здоровье бабки Гугенихи! Вот и вся работа. Дома и в поле больше тяжести. Не дается задаром хлеб.

* * *

Хан Ургай удивился, когда узнал, что казачье войско подошло к Урочищу. Он полагал – не так начнется война. Думалось, казаки оседлают половиной своего войска брод, а остальные будут рыскать на лодках, мешать переправам. На реке трудно победить русичей. Но как они могут удержать орду, если переправы начнутся в сорока местах? Так замышлял Ургай ранее... А по броду бы ударили сразу десять лучших тысяч. И шесть тысяч бросились бы вплавь чуть ниже брода, прямо на казацкий городок. Потери были бы большие. Но великий Аллах лишил разума казачьих атаманов. Казаки сами перешли брод и стоят возле Урочища со всем своим малочисленным войском. В сечи их можно порубить за полдня. И не надо расплывать силы на переправы в разных местах. И на захват брода можно теперь послать одну сотню, а не десять тысяч. Переправу охраняют всего два казака и женщины с пищальями. К великому и мудрому Ургая от казаков перебежала сегодня татарка Насима. Она нарисовала на песке укрепления возле брода. Дозор подтвердил показания татарки. А Мурза пленил арканом старого казака. Казак на пытках признался: ночью Хорунжий врежется клином за добычей к ханским шатрам. Затем казаки пойдут на север, отманивая орду от станицы. Но старый казак сказал, будто на защите брода в укреплениях засели три сотни воинов с пищальями. Хитрил немножко старик. А мы ему встречу устроим с перебежавшей татаркой. Ургай хлопнул в ладоши...

– Приведите татарку. И раздуйте угли под пятками этого казака. Побольше огня!

Дед Терентий уже и не извивался от пыхнувшего под ногами огня. Он посмотрел на приведенную Насиму одним глазом. Другой у него вырвали при пытках.

– Ты знаешь этого казака? – спросил хан Ургай Насиму.

– О да, великий хан! Это казак Терентий Смеющев, дед сотника Тимофея Смеющева.

– Он говорит, что брод охраняют в укреплениях три сотни казаков с пищальями... Правда это? – заглянул в глаза Насиме хан Ургай.

Насима смутилась, щеки ее заалели. Было видно, что она растерялась. Ничего не понимает. Но заговорила она твердо:

– Терентий обманывает вас! Брод защищают всего два казака и бабы! Посмотрите на укрепления с этого берега. Разве в них могут поместиться три сотни казаков?

– Тьфу! Сучка вонючая! Падаль! – плюнул кровью дед Терентий.

Насима побледнела, выпрямилась гордо, отошла. Она вытирала плевков Терентия и плакала.

– А правду сказал казак, будто ночью они налетят на мои шатры? – опять впился в Насиму по-коршуньи хан Ургай.

– Сегодня ночью, пока вы не выстроились к бою, атаман Хорунжий ударит конным клином по шатрам. Они решили пограбить шатры в суматохе! – всхлипывала Насима.

Хан Ургай шевельнул мизинцем правой руки. Старого казака Терентия переташили, подвесили над котлом с кипящей смолой.

– Крути коловорот. Крути, чтобы казак погружался в кипящую смолу! – приказал хан Ургай Насиме. – Да крепче держи ручки коловорота!

Два ордынца уступили место Насиме. Она не удержала коловорот. Завизжало бревешко осями, завертелось. Терентий мгновенно погрузился в булькающую вязкую жидкость. Токмо дымок белый взлетел да послышался хрип.

Хан Ургай, ханич Нургалей, нукеры и тысяцкие ушли в шатер. Нукеры скрылись за шелковым пологом. Остальные вымыли руки из серебряных водоливниц, сели на ковры. Свершили молитву. Слуги зажгли благовонницы, внесли мясо, пиалы с кумысом. Ургай, всасывая бараний жир с хрящами, хлюпал ртом, урчал, как барс. Сначала ели бешбармак. После этого подали в чаше корешки тростника с медом, лепешки на золотом блюде. Конины с укропом и сайгачьи мозги с чабрецом ели с отпышкой. Совещаться начали за третьим кумысом.

– Выступление к переправам отменяется! – заговорил хан Ургай, косясь на Мурзу. – Повелеваю окружить мои шатры в семнадцать рядов повозками. А завтра мы прижмем казачье войско к обрыву, изрубим. Еще лучше, если они попадутся к нам в ловушку сегодня ночью. Устроим засаду. Когда они налетят, пропустите их до шестого круга. Затем сомкните кольцо. Приготовьте факелы. Спрячьте в кибитках десять тысяч лучников – готовых к бою по сигналу.

– Солнце в зените, до ночи далеко. Надо бы овладеть бродом, великий хан! – поклонился Мурза.

– На брод я пошлю Нургалея с одной сотней. Там всего два казака и женщины. Засады там нет. Нургалей возьмет переправу.

– Казаки коварны, великий хан. Татарка-перебежчица, наверное, подслана с умыслом. Хорошо бы испытать ее огнем. Без хорошей засады брод казаки не оставят. И русичи могут запалить степь. Это опасно для нас на Урочище, великий хан! – снова склонил голову Мурза.

– Степь запалить можем и мы. Но нет желанного ветра. Нет этого ветра и у казаков, – поддержал великого хана Нургалей.

– Пора нам, великий хан, вооружать войско пищальями, пушками иноземными, как это делает султан турецкий. Наши воины храбры, но орда погибнет, если будет держаться только за сабли и стрелы.

– Это мы уже слышали, Мурза. И мы тебе доказали, что ты не прав. Нургалей изрешетил стрелами и порубил в позапрошлом году сто казаков, вооруженных пищальями. Они выстрелили всего один раз... У нас погибло двенадцать воинов. У казаков – сто! Что же лучше? Пищаль или стрела с луком? – ехидно растянул губы хан Ургай.

– Нургалей налетел на казаков неожиданно, в открытой степи, – пытался спорить с ханом Мурза.

– Все свободны! А ты, храбрый Нургалей, останься... мне надо с тобой поговорить! – хлопнул в ладоши Ургай.

Когда Мурза и тысяцкие вышли, великий хан встал, размял отекавшие ноги, дотронулся мягко до плеча Нургалея:

– Возьми тысячу, Нургалей. Лети быстрее ветра. Захвати брод!

– Мне достаточно сотни, великий хан. Я сам осмотрел брод с холма. Там всего два казака. С ними сотня женщин и девиц. Для засады там нет места. В камышах с холма видны челны. Двенадцать пустых лодок. Я понял, для чего спрятаны эти челны. Когда мы начнем переходить брод, женщины выстрелят из пищалей. Затем они бросятся в лодки и уйдут по воде. Взять мы их не сможем, не успеем. Но брод завоюем с первого броска. Мне не нужна тысяча. Я оседлаю брод с одной сотней...

– Возьми лучшую тысячу, отважный Нургалей, моя надежда! К советам злого Мурзы надо прислушиваться. Казаки действительно отчаянны. Женщины у них еще более свирепы. На восьмую луну в год обезьяны одна казачка на моих глазах убила двух нукеров. Одного срезала косой – саблей для травы на деревянной ручке. Другого моего нукера она заколола вилами – трезубцем. А я ведь тогда повелел нукерам взять в полон живой ту женщину. Она не пожелала пойти в полон. И я пробил ее стрелой в спину. Опасайся женщин-казачек, Нургалей. И вдруг перебежчица лжет. Вдруг там засада в двести-триста конников? Бери перебежчицу и тысячу воинов. Скачи к броду!

– Слушаюсь, великий и мудрый хан! – попятился с поклоном Нургалей к выходу из шатра.

За полдень отборная ханская тысяча, как гроза, подлетела к броду. Пыль, топот и ржание мохнатых выносливых лошадок. Крики, дрожь – по земле. Рядом с Нургалеем плясала на аргамаке татарка Насима, показывала пальцем на укрепления.

– Попадешь снова к нам, Насима, на кол посадим! – крикнула зычно через речку татарке Марья Телегина, гордо откидывая за спину темные косы.

– Кожу со спины на ремни снимем! – добавила Стешка Монахова.

– Гляделки острогой рыбьей выколем! – сотрясала кулачищами Домна Бугаиха.

– К хвосту жеребца необъезженного привяжем! – возмущалась Серафима Рогозина.

– Титьки раскаленными щипцами вырвем! – горланила золотоволосая Нюрка Коровина.

– Замолчите, бабы-дуры! Гром и молния в простоквашу! Опосля объяснимся. Хотел я перехитрить ордынцев. Но прислал все-таки Ургай тысячу. Не удержать нам эту тьму. После первого залпа, бабоньки, бросайте пищали и бегите к челнам, что в камышнике рядом. А мы с Егорием-пушкарем еще немножко попрдержим ворогов, постреляем! – перекрестился Меркульев.

– Не поминайте нас лихом, бабы! Передайте станишникам: не посрамили мы с Меркульевым земли русской! Не уронили славу казачьего Яика! – запыхался Егорий, зажигая фитили на передвижной пушечной решетке. – И позволь, атаман, трубку раскурить перед смертью.

– Не позволю! Сие запрещает казачий круг! А вы казачки, тикайте! Хорошо будет, бабы, ежели вы нам одну лодку оставите. А то ведь впопыхах все заберете. Нам с Егорием не на чем тикать будет.

– А мы и не собирались пока уходить, – заметила Пелагея.

– Драться будем, бабы! Неможно ордынцев через брод пустить, они хаты пожгут у нас. Где зимовать станем? Не успеем выстроить! Дадим бой поганым! – заалелась Марья Телегина.

– Не уйдем с брода! Сразимся! – воодушевилась Лизавета Скворцова.

– Я, как все! – спокойно сказала Бугаиха.

– Зажигай фитили! Слушай меня! Стреляйте, когда кликну: «огонь!» – заатаманствовала Пелагея.

– Не торопитесь, родимые! На середину брода пустите ордынцев, – поучал баб Егорий, готовя к бою пушку.

Нургалей махнул саблей с пригорка, и его войско бросилось вброд, взбрызгивая воду. Что сделает засада, когда переправу минуют первые десять всадников? Побегут к лодкам! Жаль – брод в переходе не очень широк: в десять конь. Но плотно идут ряды. Растерялись русичи. Уже половина брода пройдена, а они молчат. Сорок пять рядов по десять конников в воде. Завыли ордынцы, готовясь выскочить на противоположный берег. Меркульев рванул ворот рубахи. Почему никто не стреляет? Спятели? Вражеские всадники за миг, как черти, выплснуты из реки... Уже семьдесят рядов по десять конь на переходе...

– Огонь! – набатно бухнула Пелагея.

Залп из пищалей был сокрушительным. Три первых ряда у ордынцев будто выкосили. Кони метались, падали, скатывались быстринной в глубину. Некоторые ордынцы пытались развернуться наутек... Но задние ряды давили на них, опрокидывали. Возникла свалка. Казачки заулыбались, дали второй залп сразу. И полетели в воду еще десятка четыре ордынцев. Бьющиеся конские крупы и тела воинов покатались в реку по каменистому мелководью. Остальные всадники начали отступать. Нургалей ударил редкобородого тысяцкого плеткой по лицу, закричал. Казачки ликовали, визжали, плевались с укрепа в сторону ордынцев и не делали самое главное – не перезаряжали пищали. Всадники же снова выстроились в плотные ряды о десять конь и решительно двинулись на захват брода. А казачкам стрелять было нечем. Пищали за мгновение не зарядишь. Пелагея метнулась по укрепу, орала, схватилась за бревешко. Но бабы от волнения токмо порох мимо сыпали. Руки у них затряслись. А пушка Егория не стреляла. Неисправность возникла.

Верея Горшкова отбросила пищаль, прыгнула через бок укрепа и побежала к челнам. Она влетела в воду, подпрыгнула и перевалилась в головную лодку. От страха Верея не сообразала, что делает... Села, схватилась за весла, начала бешено грести. И поплыла Верея, а за ней все двенадцать повязанных друг с другом челнов. Бабы побросали пищали, хотели кинуться к уходящим челнам. Но Пелагея засвистела над их головами бревешком...

– Куды, вашу мать? Убью! Заряжай пищали!

– Верея! Скотина! Пошто челны волокешь? – гаркнул Меркульев, выхватив пищаль у Нилы Смеющевой.

Бабы замерли, атаман стрелял метко, всей станице известно. Вот он прицелился... Значит, брызнут в лодку мозги Вереи Горшковой. И заслужила смерть. Челны уводит, всех на погибель оставляет. За такой преступ пытать на огне надобно, в землю живой закопать. Грохнула пищаль у Меркульева. А Верея сидит живехонька, веслами воду взбурливает. Торопится ударить. Но что это? Остальные челны начали отставать от лодки, на которой уплывала Верея. Меркульев пулей вервь перебил.

– Я их враз обратно приволоку! – сказала Марья Телегина. Она с разбегу бросилась в речку и поплыла вразмашку, настигая уносимые течением лодки. А ордынцы шли через брод. А бабы еще заряжали пищали. А диво-пушка о двенадцати стволах не стреляла! Егорий ползал на четвереньках, дергал запальную решетку, бил по ней камнем. Но пушка не стреляла. Меркульев пинал Егория, вырвал у него полбороды, выбил кулачищем последние зубы.

– Вот тебе сто цесарских ефимков за твою пушку! Горе-пушкарь! Я переломаю твои старые кости, чучело! Болтун! Сморчок! Тебе корчаги лепить, а не пушки лить!

При каждом слове Меркульев награждал пушкаря пинком. Егорий падал, заливался кровью, в глазах у него темнело от пудовых кулаков атамана. Но старик ползал под пушкой, искал неполадку. Вот она – оплошка! Под уключину фитильной решетки попал камушек. Маленький камушек – величиной с воробьиное яйцо. И пушка не стреляла, ибо горящие фитили не доставали до пороховых желобков. Егорий протянул руку, чтобы убрать гальку из-под уклю-

чины... Но Меркульев пнул старика с такой силой, что он разбил голову о колесо пушки, упал лицом в песок.

Хайсаки шли через брод осторожно, напряженно, ожидая залпа. Пройдена половина брода. Две казачки в воду бросились. И никто в конников Ургая не целится пищалью. Ордынцы поняли, что женщины перезаряжают ружья. Завыли воины от жажды успеха и крови, заторопили коней. И вот они уже выскочили на прибрежную мель полусотней, вздыбили лошадей для броски на укрепления. Заметили казачку, которая лодки к берегу причаливает. Нет, к челнам теперь защитники брода не успеют добежать...

И в этот миг Егорий оклемался, вытолкнул камушек из уключины, толкнул легонько решетку с горящими фитилями. Пушка рыкнула, как дюжина оглушительных громов. Полоснула она по конникам двенадцатью молниями, смела все начисто с брода до противоположного берега. От упавших лошадей и трупов вода пошла на берега. Но смыла все это река с переката. И воцарилась тишина. Ордынцы оцепенели, переглядывались. А бабы в укреплениях лежали, зажав головы руками.

– Вставайте, коровы! Заряжайте пищали! Что ты, телка, разлеглась? Я тя огуляю дубиной! – поднимала казачек Пелагея тычками, пинками и криком

– Поднимайтесь, родимые! Квашня всплыла! – прыгнула в укреп мокрая, но оживленная Марья Телегина. – Я вам лодочки пригнала, для гульбы по воде с мылами. Где моя пищаль? Ты пошто, Степанида, не зарядила ее, покуда я купалась?

Платок Марья потеряла в воде. Две темные косы тяжело лежали на ее высокой женской груди. Кофта и юбка облепили красивое, сильное тулово, могучие бедра.

Меркульев сиял. Он поднял ласково Устинью Комарову, шлепнул по ягодице Нилу Смышлеву, пощекотал Лизавету Скворцову...

– Ради бога, бабоньки, не бойтесь! Помогите зарядить пушку. А то дед Егорий шатается в тяжелом бою ранетый. Голову он в геройском сражении повредил. Не соображает ничего. Того и гляди, ядро с порохом сунет не в пушку, а в задницу Нюрке Коровиной.

Фарида залилась смехом. Она выскочила из укрепления, села на камень у всех на виду и хохотала.

– От твоей громогласной пушки, Егорий, и у Фариды голова повредилась, не токмо у тебя! – почесал огорченно затылок Меркульев.

Какой-то ордынец пустил стрелу, поранил Фариде плечо. Она метнулась в укреп, схватилась за пищаль.

– Нюр, тебе говорю, Коровина, перевяжи плечо Фариде, дорожник наложи, поплрой на рану, – указал Меркульев.

– Без твоих советов обойдемся! – подошла к Фариде Нюрка.

Ханич Нургалей понял, в чем уязвимы укрепления. Их можно забросать стрелами. Они слишком близко поставлены к воде.

Ханич собрал сотников, повелел выстроить воинов на кромке брода и бить непрерывно стрелами по укреплениям. Одна сотня по мановению Нургалея поскакала берегом вниз и бросилась на станицу через речку вплавь. Лучники за один взмах руки встали рядами у брода. Выстреливший ряд приседал, доставая стрелы из колчанов. Сорок рядов лучников безостановочно метали смерть по укреплениям. Меркульев восхищался ордынской выучкой. Стрелы свистели, не давая поднять голову. Они жалили бойницы, врвались в укрытия, не давали возможности перезарядить пушку.

Первой упала Маруська Хвостова замертво. Стрела попала ей в переносицу, пробила голову. Она упала на мешки с порохом, разбросила руки. И никто не глянул на нее. Всем верилось, что Маруська ранена, поохает и встанет. Вскоре визгнула коротко, будто щенок, Серафима Рогозина. Стрела ордынца проткнула ее насквозь. Вошла в грудь, вышла из-под лопатки. Марья Телегина глянула на Серафиму и заскулила по-собачьи. Пелагея завалилась,

как падают тучные поросы в день мясобойки. Она упала не сразу. Стрела пробила ее, а великанша не падала, стояла, покачивалась. В нее тут же вонзились еще две стрелы: одна – в грудь, другая – в плечо. Пелагея затопталась, выпучила глаза, повернулась спиной к броду. Будто хотела она посмотреть перед смертью на родной городок. В огромную спину атаманши бабьего укрепления воткнулись одновременно еще три стрелы. Пелагея вновь затопала, стала поворачиваться лицом к меркульевскому укрепу. Еще одна черная хищная стрела впиалась Пелагее в шею. Баба рухнула сначала на колени, покачнувшись с подвертом и легла на правый бок.

Меркульев не сразу заметил, что гибнут казачки в укреплениях. Он ползал, заряжал пушку с земли. Набивал стволы порохом, железной сечкой. Доволен был: уже восемь стволов зарядил с Нилой Смеющева. Для одного ствола сечки не хватило. Меркульев снял с пояса кошелек с цесарскими ефимками. Зарядил пушку золотом.

А в правом укрепе уронили пищали и затихли со стоном в соломе Лукерья Кузнечиха и Любава Сорокина. Предсмертные вопли Степаниды Квашниной атаман услышал. Увидел, как завертелась со стрелой под сердцем Серафима Рогозина. Кому-то погибнуть надо было. Но Меркульев вздрогнул и похолодел, когда ему молча ткнулась лицом в живот срезанная стрелой Устинья Комарова. Вспомнилось, что у нее трое детей – тройня. Недавно бегать начали. По три годика им скоро будет, в Семенов день.

– Всех баб ордынцы побьют! А с меня, недотепы, казаки кожу заживо сдерут за плохое атаманство. Бабы! Бабы! – закричал Меркульев. – Отрезали лучники нам дорожку к лодкам! Стреляйте по лучникам не целясь! Держите над головой пищали! Они кучей, поганцы, стоят! Стреляйте! Гром и молния в простоквашу! Стреляйте!

– Огонь, бабы! Стреляй! – начала атаманствовать вместо Пелагеи Марья Телегина.

Казачки зашевелились, вскинули пищали, выстрелили вразнобой. Снова зарядили оружие, дали залп. Олеська Меркульева нашла небольшую и удобную дыру в укрепе. Била из нее прицельно, наверняка. Как учил отец этим летом, у речки. Дарья бранилась тогда. К чему, мол, девчонке в таком возрасте пищаль? Останется еще без глаз, как Федька Монах.

Меркульев наводил на врагов пушку. От слабосильного Егория помощи никакой. Стволы надобно было чуть поднять и повернуть вправо. Чтобы ударить в самую гущу лучников. Да и всадники с ханичем Нургалеем снова готовились к броску. Задумано хорошо. Теперь конники двинутся через брод под прикрытием лучников. Атаман корячился, багровел, но пушка не двигалась с места. Нюрка Коровина подползла к Меркульеву. Юбка у нее порвалась и заголилась. Одна коса расплелась. В рыжих волосах солома. Но не до обихода и нарядов в бою.

– Давай помогу! – поднатужилась Нюрка и повернула пушку. – Тяжелая, уродина!

«И откуда в русских бабах такая сила берется?!» – подумал Меркульев, нажимая на рычаг фитильной решетки. Двенадцать стволов чудища снова рывкнули утробно громами, ужалили градом железной сечки строй лучников. Поредел строй ордынцев. А бабы осмелели, встали во весь рост и вlepили из пищалей два прицельных залпа.

– Так и казаки, мужи ваши, не воевали, бабы! – прослезился Меркульев.

Чья-то пуля попала в живот Нургалею. Он завизжал по-шакальи, закрутился, свалился с коня оползнем. Ордынцы растерялись. Насима в суматохе ускакала от них в сторону, к речке, бросилась с конем в воду. Редкобородый тысяцкий повел оставшиеся три сотни в степь. Убитого ханича закинули поперек паршивой лошадки лучники.

– Перемога! – завопила Бугаиха.

– Разгром! – развел руками Меркульев.

– Смерть хайсакам! – заплясала татарка Фариды.

– Простите нас, бабоньки! – поклонилась убитым казачкам Марья Телегина.

А на реке, у острова, гремели выстрелы. Они доносились до брода приглушенно, как хлопки. Меркульев и ухом не повел. Понял, что это его Дарья бьет с челнов пищалами по ордынцам, которые пошли через реку вплавь. Врагов там и веслами, острогами бы сокрушили.

С Дарьей была сильная, хорошо вооруженная бабья ватага. Ханич Нургалей сплеховал, послав против них одну сотню.

К Меркульеву подошла, волоча по земле тяжелую пищаль, Олеська. Тонконогая, зеленоглазая, просветленная битвой, она вся подрагивала от виденного и пережитого. Стыдно стало отцу. Боем руководил он, атаманствовал, о погибших бабах и девках сокрушался. А о родной кровинке, дочке Олеське, ни разу не вспомнил! Вот как звереют в сражениях люди!

– Отец, это я татарского царевича из пищали свалила! – заластилась Олеська к Меркульеву, почерневшему от пороха, пыли и горя.

– Да, Олесь, это вы, девки и бабы, разбили орду! Такого еще не видел бог! Такое может быть токмо на Яике, на Руси! Значит, в судьбе у вас проросла золотая трава – одолень!

* * *

У Дарьи на реке большой опасности не возникло. Лодки-чайки сначала долго прятались за островком, затем казачки добивали сброшенных в речку с брода ордынцев. Рвались бабы на брод, но Дарья не позволила. Памятовала о наказе мужа. Строго-настрога запретил он лезть под вражеские стрелы. Похолодело сердце у Дарьи, когда выплыла из прибрежного камышня от брода Верея Горшкового. Но скоро стало ясно: просто она струсила, сбежала. К себе в отряд бабы Верею не взяли. Дарья отправила ее на берег: охранять городок со стороны оврага. Там уже сидели в засаде с пищальями рослые отроки – Вошка Белоносов, Прокопка Телегин, Мироша Коровин, Тараска Мучагин, Митяй Обжора, Егорка Зойкин и Демид Скоблов.

Жарко стало на реке, когда к станице бросилась вплавь сотня, посланная Нургалеем. Дарья укрыла чайки в ивняке островка, ждала. Лодки вылетели из засады, когда ордынцы были посреди реки. Но это не сражение было, а побоище. Ордынцы плыли еле-еле, держась за гривы и хвосты коней. У некоторых были надуты воздухом бурдюки для кумыса. Лодки окружили сотню, не пускали ее ни к тому, ни к другому берегу. Из пищалей и стрелять не надобно было. Стреляли для интересу. Бабы и девки били ордынцев по головам веслами, острогами, секирами. И начали скоро драться и браниться меж собой.

– Не тронь! Энто мой! Я сама его пришибу! – орала Стешка Монахова, выбросив толчком из лодки Клашку Нечаеву. Но та спроворилась, подплыла к ордынцу, нырнула, утянула его ко дну и задушила в воде.

– Я те голову прошибу, стерва! – грозила Стешка подруге.

– Энто мой! Энто мой! – раздавались вопли со всех сторон.

В одного ордынца вонзили сразу три остроги. И вытащить их из тела невозможно было. Так и бросили врага, ушел он ко дну с железами в ребрах.

Некоторые бабы слезами и в голос ревели от обиды. Не могли пробиться к этой бойне. Нахальная Маланья Левичева одна дюжину голов порубила. Совести нет, размахалась. А Ульяна Яковлева совсем обнаглела, выпрыгнула из лодки на круп плывущей лошади и зарубила секирой сразу двух ордынцев. Стешка вцепилась ей в пакли, когда она подплыла обратно к лодке. Отгаскала за волосы и Пашу Рябову – персиянку за то, что коня плывущего зарубила секирой.

– Не трожьте Пашку, бабы! Отпустите, паскуды! Нечаянно она рубанула по коню! По ордынцу метила, промахнулась. Клашка ее толкнула! – с трудом успокоила казачек Дарья.

– Жалко ить коня! – оправдывалась Фекла Оглодаева, бросая в воду клочок Пашкиных волос.

– Тож мне... вояки! Не могли три-четыре сотни послать, – возмущалась Стешка Монахова в сторону ордынской степи.

Были и более смешные подробности этого боя. Трусила и укрывалась за спинами баб токмо Зоида Грибова. Дарья сидела на берегу, на старой опрокинутой лодке и улыбалась. Она

ждала, когда Дуняшка пригонит из оврага взнузданного коня. Многие казачки уже пересели на лошадей, рыскали по берегу реки. Снимать с лодок детей Дарья пока не разрешала.

Дуняша выскочила из оврага на вороном, нервно подлетела к матери, спрыгнула, пролепетала, заикаясь:

– Мам, у-убийство там!

Дарья встала. Из-за кустов можжевельника выехали три дородные всадницы на пегих лошадях: Верея Горшкова, Параха Собакина и Хевронья Суедова. Они тащили на вожжах какой-то обезображенный труп, привязанный к хвостам своих водовозных кобыл. Всадницы раздувались от важности и гордости: мол, вот и мы отличились тут, на берегу. И у нас великие заслуги!

Казачки сошли с коней, подтащили труп к ногам Дарьи, высвободили вожжи. Толпа выросла мгновенно. Подошла Евдокия-знахарка, Стешка Монахова, Фекла Оглодаева.

– Страх, убийство-то какое! Кто ж это? – закрыла рот пальцами Ульяна Яковлева.

Хевронья оттолкнула Пашу-персиянку, слегка поклонилась Дарье:

– Когда вы били ордынцев с лодок, заметила я одного в стороне. Ниже по течению. Глю, плыветь сюды. Мы с Парахой и Вереей затаились. Вылазает она, значит, из воды... С конем, честь по чести. А мы ее – хватать! И посадили на кол осиновый в овраге. Костер у нас горел тамо. Мы басурманке гляделки острой раскаленной выжгли. Уши отрезали. Кишки выпустили. Пыталась она врать нам. Да мы ее слушать не стали.

– Кто это? – дрогнула Дарья.

– Насима! Изменница проклятая, татарка! Кто ж еще! Я самолично ей зырки каленым железом выткнула! – возбужденно выпалила Верея.

Дарья ударила хлестко нагайкой Параху, выткнула глаз Хевронье молниеносным тычком кнутовища, сбила с ног Верее и выдернула кол, на котором обычно сушили сети. Ревущая Хевронья и Параха отскочили. Здоровенная баба – Дарья. С ней в драке, пожалуй, токмо Пелагея-великанша управилась бы. Верея Горшкова попыталась уползти на четвереньках, но распласталась от страшного удара по спине. Дарья молотила ее, будто куль с ячменем. Верея сначала кричала, охала, но вскоре затихла.

– Перестань, Дарья! Она уже отдала душу богу! – отобрала кол у обезумевшей Дарьи Маланья Левичева.

– И вправду померла! Моя помочь не к потребе, – скрипуче склонилась знахарка. – Забила ты до смерти Вереею. И Хевронья без ока останется!

А Дарья упала перед обезображенной Насимой и запричитала:

– Горлица ты моя гордая, сломаны крылья твои! Стешка и Маланья подняли Дарью, усадили на опрокинутую лодку, похлопали по щекам...

– Чего воешь? За изменницу-татарку неможно было убивать Вереею и вытыкать око Суедихе.

Дарья высвободила руки, встала резко, глянула сурово сухими глазами и заговорила хрипловато, не своим голосом:

– Как я гляну, бабы, на мужа-атамана? Это Игнат уластил Насиму сбежать ухитренно к хану Ургаю. Насима в обман ордынцев вводила. Про пушку молчала. Старалась, чтоб поменьше войска поганого на брод пришло. Животом своим Насима рисковала за нас, за казачий Яик! И наградили мы Насиму мученичеством страшным, гибелью! На кол посадили девчонку, кишки выпустили, уши отрезали, очи выжгли!

* * *

А в степи под Урочищем Хорунжему и казакам не везло весь день. Они сидели возле языческого идола – Каменной Бабы. Ветер даже не собирался дуть в сторону восхода. То без-

ветрие полное стояло, то тучи клубились, грозясь обрушиться ливнем. И пропадали надежды сгубить орду огнем.

– Зря токмо казака на пытки отдали! Поджаривают ему пятки ордынцы. И погибает Терентий задарма!

– Хайсаки не почуяли подвоха? – спросил Хорунжий у Нечая.

– Нет! Подкрались мы утайно. Спешились, пошли за табуном ордынским. Своих коней за поводья держали. До самых кибиток добрались. Пригибались, за лошадьми прятались. Всей сотней в орду вошли. Гикнул я, взлетели на коней мы и почли рубить ордынцев. Накрошили капусты. Схватил каждый из нас по молодой хайсачке поперек седла, пошли наутек. Ермошка насмешил нас: вздернул на коня себе ордынскую дитятю-девчонку. И дед Терентий ордынку зацапал. Взяли нас вороги в клещи. Дело гиблое. Еле вырвались. Побросали бабаек, выскочили из западни. Но Ермошка свою дитятю не бросил. Добыл себе бабу. Терентия заарканил сам Мурза. Кобыла-то у Терентия старая, отставал он. Тимоха его проводил, рукой ему помахал... И слова у деда были такие:

– Прощай, Тимофей! Прощевайте, казаки!

– Но ты, Нечай, зря нас так глубоко в орду завел. Могла вся наша сотня сгинуть. Еле-еле выскочили! – покачал головой Тимофей Смеющев.

– Ничаво! – отмахнулся Нечай. – Наше дело такое! Я за Ермошку токмо сомневался. Думалось – сгинет. Но у него конь добрый!

Долго говорили о том, как зажигать степь. Охрим проявил себя знатоком:

– Степь надобно запалить в треть конного перехода. Вал страшный, высотой на два полета стрелы возникает. И катится такой огонь быстрее, чем ястреб падает. Сайгаки не могут уйти, тыщами поджариваются. Озера закипают. Болота запекаются, как пироги! Страх божий! От Яика до Китая такой огонь прокатится, все превратит в пепел.

– Однажды мы с Меркульевым сожгли так в степи двадцать тыщ татар. Но ветер вдруг повернул к нам, сбоку огонь нас обошел. Еле спаслись, – вспоминал Хорунжий.

– Когда идет огненный вал, не спастись! Огонь через реки прыгает. Вихри пламенные деревья с корнем вырывают. Верблюды к небу взлетают! – встрял, на свою беду, в разговор Овсей.

– Верблюды в небо, значит, взлетают? А когда твои молитвы станут в небо подниматься, Овсей? За што мы тебе кошт выделяем хлебом и вином? – спросил Микита Бугай.

– Овсей много пьет, мало молится. Потому и нет ветра нам на поджог степи! – забубнил Тихон Суедов.

– Давайте, казаки, привяжем пресвятого отца к этой Каменной Бабе. Оголим поповскую хребтину и будем хлестать нагайками. Бить будем, пока его молитвы о ветре не долетят до бога, – мирно и благодушно предложил Герасим Добряк.

– Бить! – согласился Балбес.

– Бить! – сверкнул одним глазом Федька Монах.

– Бить! – весело крутнул шляхетский ус Матвей Москвин.

– Бить! – приговорил Дьяк, казак из отважной сотни Нечая.

– Бить! – подмигнул Панюшка Журавлев.

– Бейте! – разрешил Хорунжий.

Овсей и глазом моргнуть не успел, как его схватили крепкие руки Балды, Нечая и Тихона Суедова. Расстригу прислонили грудью к раскаленному солнцем животу Каменной Бабы, прикрутили арканом.

– Вас накажет бог, казаки! – закричал протестующе Овсей. – Поглядите, в какой охальной позе вы меня привязали к этой каменной идолице! Это, казаки, голова и тулово языческой блудницы! Вы заставили меня обнимать грешницу, Каменную Бабу! А в святом писании сказано: диакон должен быть мужем одной жены!

– А ты что? Прелюбодействовать собрался? Али жениться? – усмехнулся Хорунжий. Тихон Суедов слишком усердно хлестнул расстригу нагайкой. Овсей завопил, начал прижиматься к Бабе, чем рассмешил казаков.

– Что ты к ней жмешься? В удовольствии оторваться не можешь? – вопрошал Бугай.

– Я слышу, как стучит сердце у этой Каменной Бабы! Тук-тук-тук! – пытался заинтересовать казаков Овсей, прикладывая ухо к идолице.

– Молись о ветре! – хлестнул бедного расстригу Добряк.

Ермошка наблюдал за дурью казаков с коня. На плече его сидела знахаркина ворона. А к спине была приторочена арканом пленная ордынка – девчонка четырех лет, не более. Жалко было Ермошке попа Овсея. Но вмешиваться в игру казаков, в разные их потехи нельзя. Прибыют!

– Лети, Кума! Сядь на Каменную Бабу и каркни: не троньте расстригу Овсея! – учил неполголоса Ермошка ворону.

Но ворона глупо вертела головой, на Ермошкины уговоры не поддавалась. Не очень внимательная. Не очень грамотейная птица. Соображения не имеет. Жалости к хорошему человеку не питает.

– Где ветер? – щелкнул опять нагайкой Герасим Добряк, обходя вокруг Каменной Бабы.

– Молюсь! Молюсь о ветре! – крутил задом Овсей. – Не мешай мне! Отыди подале, Добряк! В соседстве с таким великим грешником, как ты, молитвы не могут взлететь на небо! Братья-казаки, я бы давно вымолил у бога ветер, но мне мешает этот гнусный злодей и шкуродер!

– Отойди, Добряк! – повел булавой Хорунжий.

– О боже! – взмолился Овсей. – Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных. И не сидит в собрании развратителей. И у сказано еще в девяносто третьем псалме: образумьтесь, бессмысленные люди! Когда вы будете умны, невежды? Казаки! Отвяжите меня от этой бабы. Горячите коней, грядет ветер!

Ворона взлетела с плеча Ермошки, покружилась, села на голову Каменной Бабы и закаркала:

– Ветер! Ветер! Ветер!

И не успели казаки прыгнуть на коней, как заволновались ковыли, и начал нарастать сухой на восход устремленный буревай.

Хорунжий взмахнул булавой, и полетели конники в разные стороны от Каменной Бабы, выстраиваясь в редкую цепь перед Урочищем. Встали на окрик друг от друга, спешили, бросили порох в ковыли и подожгли степь. Огонь пошел на Урочище. А полк Федула Скоблова запаливал торопко сухотравье, отсекая орду с севера. С юга ватаги Богудая Телегина и Антипа Комара бросали в траву огонь, увидев дым у Каменной Бабы. Разгорался степной пожар, брал в клещи орду. Казаки наблюдали за огнем, гасили кромку ползучего шаянья со своей стороны.

– Нагадала вчера Веря Горшкова моей Устинье жить до ста лет. А мне погибель на бобах выпала. Трудно будет Устинье с тройней без меня. Тяжело прокормиться, – толкнул в бок Антип Комар Богудая Телегина.

– В бобах правды нет! Надось гадать по линиям на ладошке, по глазам. Персиянка у Емельки Рябого по руке гадает. И все иногда совпадает. Трояшек-то твоей Устинье она нагадала...

– Мы тут сурков поджариваем, а баб наших, мож, давно в полон взяли ордынцы, – вздохнул кузнец Кузьма.

– От твоей Лукеры смрадом кузнечным воняет, ее ни один татарин не станет обнюхивать. Погребует! – беззлобно заметил Остап Сорока.

– А твоя Любава, Остап, чеснок жрет с салом каждый день. И разит от нее, как от шинкаря Соломона! – заметил Гришка Злыдень.

– Заткнись! А тось побегешь к знахарке второе ухо пришивать! – лениво отмахнулся Остап.

Зубоскалили казаки в степи об Устинье Комаровой, Лукерье Кузнечихе, Любаве Сорокиной, Степаниде Квашниной, Серафиме Рогозиной... Пакости разные о них говорили и не ведали, что лежат они мертвые рядом с Маруськой Хвостовой и Пелагеей-великаншей.

– Ежли бы ордынцы взяли в полон мою Верею и затребовали бы сто червонных выкупа... Я бы дал им два раза по сто и три коровы, штобы не возвращали! – хихикнул Лисентий Горшков.

Ехидничал писарь Лисентий про свою Верею, знать не мог, что лежит она в станице холодная, забитая до смерти Дарьей Меркульевой.

Шелом Хорунжего воинственно посверкивал в отвесах степного пожара. Дым и огонь уже скрутились в огромный вал. Казаки видели, как кувыркался в небе поднятый вихрем, обугленный сайгак. Нарастал и катился страшный оранжево-черный закрут на Урочище. Заметались ордынцы, взлетели на коней, бросили на погибель своих хайсачек и ребятишек в кибитках и понеслись в разные стороны. Но не уйти им было от гибели.

Казаки представляли, как жарится в огне орда. Горящая степь душит, обжигает, тяжело умирать в полыхающем сухотравье. А огненный вал убивает мгновенно. Сразу кожа до костей обугливается, глаза лопаются. Кони, скот, сайгаки долго лежат после такого пожара в степи, вздувшиеся, поджаренные. Смердной становится степь, мертвой.

– Сгинула орда, казаки! Сгинула!

– Слава Хорунжему! – крикнул Матвей Москвин.

– Слава! Слава! Слава!

– Не зазря погиб у нас Терентий! – обнял кузнец Тимофея Смеюшева.

– За поход у нас никто даже царапины не получил, в летописи надобно для потомства сие отметить! – тыкал пальцем в небо Лисентий.

– А мои раны кровавые, христиане? – заголил спину Овсей. – Кто возместит мои страдания? Ставьте мне бочку вина! Или стройте церковь в станице в ознаменование победы славной и Успеньева дня пресвятой богородицы! Это я вам вымолил ветер у бога!

– Не надо нам церкви! Без храмов двести лет, в десятое уже поколение живем!

– Яик сам церковь явится для Руси!

– Две бочки вина выделим Овсею, а церковь не станем строить.

– Лучше поставим в станице еще одну селитроварню и кузню! – тормозил Овсея кузнец Кузьма.

– Ермошке свадьбу справим! Ишь невесту какую захватил, гляделки узкие, а сопли русские!

Хорунжий застегнул кольчужные подвески шелома, похлопал коня по шее и вскинул булаву. Затихло войско. Атаман будет говорить. Не заметишь знака, зашумишь, крикнешь нечаянно – и побьют. Вдругорядь не будешь рот раскрывать, пока не осмотришься. Молчите, атаман говорить сподобился...

– Казаки! Орду мы изничтожили! Пора нам в станицу. Там труднее было. Любая сотня хана Ургая могла прорваться, пожечь и пограбить наши хаты. И мож, нет там уже ничего! Мож, разоряют наши гнезда хайсаки, а бабы с ребятишками на челнах к морю бегут. Надобно их догнать, остановить. Вестью о гибели ворогов порадовать. Урочище обгорелое мы успеем завтра обшарпать. Не может там быть ни одной живой души. Казну хана Ургая, посуду и железы полковник Федул Скоблов поутру соберет. Бодрите коней, казаки! Летите к броду!

* * *

Дарья говорила тихо, стоя на коленях перед Меркульевым, возле укрепления.

– Прости меня, мой свет-муж, атаман! Помилуй или казни, Игнат Иванович. Не уберегла я Насиму. На своей земле проворонила. Запытали ее бабы через глупость свою и злобу к орде. Очи ей выжгли, убили до смерти. Не ведали ведь они, что энто мы засылали ее к врагам.

А Верю Горшкову я в гневе убила, но не жалею!

– Не до твоих жалостей, Дарья! – взял за плечи и поднял жену Меркульев. – Не уберег я баб. За плохое атаманство казаки с меня кожу сдерут на дыбе. Вишь, лежат они мертвые: Маруська Хвостова – судьба горькая. Степанида Квашнина – в девках сгибшая. Серафима Рогозина – душа светлая. Пелагея – великанша могучая. Лукерья – ромашка, жена кузнеца. Любава Сорокина – молодушка красная. Устинья Комарова – троих детей осиротившая! И прощенья за погибель их мне ждать невозможно. Казнят меня, и поделом!

Вечерело в степи. Пльвуче сумерки падали. Но заслонь с брода убирать опасно. Ордынцы вернуться могут с подкреплением... Кто ведает? Враз тогда разорят станицу, всех побьют. Потому и детишек еще не снимали с лодок. Так они и болтались на воде в камышах.

– Что ж там наши казаки? Мож, сложили буйны головы? – спросила жалобно Нюрка Коровина. – Моему-то нездоровилось, ослаб, покашливал ночью. Скрозняком прохватило опосля бани. Он ить хилой!

«Ты за одиночный удар, Илья Коровин, вздеваешь на пику, как на вертело, по семь ордынцев!» – вспомнила Олеська обличительную речь Овсея на дуване и заулыбалась.

Все смотрели за речку, ждали чуда, ждали гонца с доброй вестью.

– Блики по небу! Тучи черные! Там пожар! – взобралась на укреп Олесья.

– Пал пускать и ордынцы умеют, – скосомордилась Бугаиха.

– Я слышу гул! К нам конница несметная летит! – приложила ухо к земле Фарида.

– Бабы, заряжай пищали! Зажигай фитили! Егорий, готовь пушку! Целься на брод, – вновь начал атаманствовать Меркульев.

Туча пыли закрывала конное войско, подходящее к броду рысью из ордынской степи. Но по гулу земли ощущалась могучность воинства. Уже взметнулись первые брызги под копытами.

– Не пустим ордынцев через брод! – прозвенела Олеська, нацеливая пищаль на всадников.

– Дарья, скачи к баркам! Уводи баб и ребятишек к морю! – вытолкнул жену из укрепления Меркульев и подошел решительно к пушке.

Дарья взялась за узду вороного, но чуть замедлилась. Из тучи пыльной над бродом вылетела знахаркина ворона. Птица перепорхнула через речку, села на истыканное стрелами бревно укрепления и каркнула картаво, но отчетливо по-человечески:

– Орда сгорела! Орда сгорела!

– Повтори, милая, что ты сказала? – попросил дрогнувший Меркульев.

– Орда сгорела, дурак! – крутнула хвостом ворона, посмотрев на атамана сбоку, одним глазом, насмешливо.

Порыв ветра отнес тучу пыли в степь. И бабы увидели золоченый шелом Хорунжего, своих казаков, конно пенивших брод.

Цветь четвертая

Три дня и три ночи станицу сотрясали выстрелы, пьяные крики, звон сабель – разгул, драки смертельные...

Соломон облачился в теплый бухарский халат, глянул в утайную, хитро просверленную в стенке дырь: Фарида шустро разливала вино, смешанное для пьяности с толченым мухомором. Хорошую работницу подарил Меркульев. Жаль, сам попал под решетку в глубокую яму. Фарида – не работница, золото! Татарка молодая и смазливая, бойкая и веселая. Но палец в рот не суй – руку отхватит! Казаки относятся к ней уважительно. На бочке под прилавком у Фарида всегда лежат три заряженных пистоля и янычарский ятаган. Вчера Остап Сорока схватил бочонок вина, хотел унести задаром, без обещания. Фарида он отбросил зверским пинком, обругал грязно. Но татарка уложила его выстрелом из пистоля в упор. Может быть, умрет. Знахарка возится с казаком, отпаивает настоем мумиё и чабреца. После этого ограбить шинок никто пока не пытался. Пьяный расстрига Овсей ходит по станице нагишом. Из шинка Фарида его вышибла ударами тяжелой сулицы – дубинки.

– Вот до чего доводит людей винопитие! – сокрушался Охрим.

– Ты бы могла стать моей женой, Фарида? – спросил шутливо Соломон. – Или просто моей экономкой, хозяйкой?

– Могла бы! Женись! – рассмеялась татарка.

Вот она разливает вино, отбирает у казаков золотые талеры, серебряные ефимки, динары, копейки – деньги всех стран и народов. Можно подумать, что татарка торговала в шинке всю жизнь. Гляньте, люди добрые! Она взяла у Ильи Коровина червонный кругляш, вытерла кружку грязным подолом своей юбки, налила вина. Вместо сдачи показала кукиш. Устину Усатому она сунула в ручищу бокал и подмигнула:

– пей мочу кобыл!

– Ох, уморила ты меня, Фарида... пей мочу кобыл! – расплескивал вино пьяный Устин.

Шинкарь опустил завесу, успокоился, сел на скамью за стол, поправил фитиль лампы. Риск окупался с лихвой. Соломон обмакнул гусиное перо в отлитую из меди, позеленевшую чернильницу, задумался... Возле носа кружилась муха. В шинке прогремел выстрел. Мешают, не дают сосредоточиться. Он вздохнул, отмахнулся от мухи и начал выводить вязью буквы письма: «Брат мой Манолис! Пишет тебе Соломон, да сохранит бог наш торговый род. Я надеюсь, что ты получил мое первое послание, в котором сообщалось о гибели Сары и других моих злоключениях. Верю: ты выполнил мои поручения, заготовил для меня товары. Мне предоставили полную свободу. Сейчас строю винокурню. Через месяц, даже ранее, я появлюсь в Астрахани. Казаки доставят меня туда на парусной лодке-чайке. Обрато на Яик я уведу торговый караван: три-четыре корабля. Я открыл поистине золотую землю. И в торговле могут быть Колумбы! Однако открытия мои касаются не только торговли.

Яик – это казацкая республика, независимая страна, самостоятельное государство! На Руси республика существовала еще и в Новеграде. Но она давно рухнула под ударами Московии. Запорожскую Сечь можно признать вольницей, но не республикой. А здесь, брат мой, существует именно Республика, достойная пера Тацита. Власть выборна на Яике. Любого атамана сместить и даже казнить могут. Кстати, атаман Меркульев, о котором я сообщал в первом письме, низвержен за гибель женщин в бою, бит плетью на дыбе и брошен в яму, где дожидается жестокой казни. Я на это представление не пойду. К Меркульеву я питаю добрые чувства. Он понял меня, я поверил ему. Атаман был все-таки благородным и великодушным человеком. Хотя он и вздергивал меня на дыбу, я не имею к нему зла. Меркульев даже не взял у меня смарагды, которыми я хотел задобрить его. Он хитрый трибун. И, по-моему, добрый человек.

Брат мой, прошу – передай дьяку Тулупову: никакой его дозорщик на Яике ко мне не подходил, весточки для царя Московии не передавал. Да я и не стал бы выполнять такую опасную просьбу. Не хочу попадать еще раз на дыбу. Меня интересует только торговля. Клянусь, брат, мне понравились казаки Яика больше, чем запорожцы и дончаки. Впрочем, здесь мешанина людская, каша судеб, сплетение наречий. В одной хате говорят по-московитянски, в другой – по-запорожски, в третьей – поморский говорок, а в четвертой – с ордынской помесью... У многих казаков жены – пленные татарки. Впрочем, татарами Русь обзывает всех ордынцев: ногайцев, башкир, хайсаков... Яицкие казаки женятся на ордынках часто... Дикари они, разумеется, ужасные! Но есть любопытные личности. О толмаче Охриме я тебе рассказывал, по-моему, когда вернулся из Запорожской Сечи ограбленным. Точно не помню. Я с ним подружился еще там, в Запорожье. Охрим родился и вырос на Яике. Жажда приключений, сражений и познания бросала этого казака по многим странам. Но не это удивительно... Охрим знает русский, татарский, арабский, свейский, польский, турецкий, латынь, древнегреческий... Не перечислить! В Париже или в Гамбурге его бы почитали за крупного ученого. На казацком Яике он всего-навсего толмач. Охрим знает великолепно Гомера, Вергилия, Аристотеля, поклоняется Эпикуру и Лукрецию, изучал Фому Аквинского. Но поговорить, поделиться своими знаниями ему не с кем! Охрим требует запретить винопитие. Но, славу богу, его никто не слушает!

Второй наиболее ученый человек на Яике – расстрига Овсей. Он изощрен в русских летописях, славянской истории, богословии. Людей грамотных здесь мало: Меркульев, Матвей Москвин, Хорунжий, Дьяк, Лисентий Горшков, Федул Скоблов, сотник Тимофей Смеющев. Ведают грамотой и две-три женщины. Моя работница татарка Фарида преграмотна поразительно! И девицы, и подростки некоторые обучены немножко читать и писать. Но на всем Яике нет ни одного Евангелия, ни одной Библии! На всей этой великой казацкой земле нет ни одной церкви, хотя казаки почитают себя христианами! Поэтому тут много суеверий, нелепых и смешных религиозных представлений. Нет здесь разума и просвещения, зато у казаков есть говорящая ворона. Навроде твоего попугая Цезаря. И они слушают эту птицу более увлеченно, чем проповеди попа Овсея.

Рабства на казацком Яике нет. Пленных убивают или отпускают с богом, отрезав носы и уши. Детей берут на воспитание. Недавно юный казак Ермошка привез из похода девочку-ордынку. Он кормит ее, как сестренку, хотя сам живет впроголодь по причине своего сиротства.

Воинскому делу на Яике обучаются с детства. Каждый год в день Симеона-летопроводца устраивается постриг. Жду с нетерпением этого дня, хочу увидеть воочию варварский обычай. Постриг – это день, когда трехлетних детей сажают на полудиких коней в степи. Бывает, детишки разбиваются насмерть.

Войсковая казна – в избе на дуване: шестьдесят тысяч рублей золотом и серебром. Казна для казацкого Яика – нищая. Но ходят слухи, что старшины держат тайно войсковую казну на черный день. Говорят, прячет сокровища Меркульев в подвале своего дома. Подпол такой существует действительно. Мне там приводилось бывать. Но сокровищ не видел. Хотя бочки какие-то заметил. По байкам казацким, во второй, секретной казне, – шесть миллионов золотом, два – серебром... И есть золотой кувшин с драгоценными камнями. Но казаки на сказки горазды. В шинке все можно услышать...

Вооружено казацкое войско отменно. Имеют пушки, пищали, пистолы. Пищали многие устарели. Но значительное количество ружей новой изладки. Весьма скорострельны. Я таких не видел даже у мастеров-немцев. По-моему, это изобретение местного кузнеца. Он же похвляется, что открыл тайну булата. Смекалка у казаков вообще в крови. Я сам видел в казацком укрепе брода двенадцатиствольную пушку. Орудие изладил пушкарь Егорий. Ничего чудесного в пушке нет. Обыкновенные стволы, но с пазами. Дула зажаты, скреплены бревнами. Ори-

гинальна и остроумна лишь запальная система. Одно движение руки – и стреляют все двенадцать стволов! Урон врагу от пушки может быть значительным.

Порох казаки не покупают. В станице своя селитроварня. Селитру мешают с лепестками цветов васильков. Получается прекрасный синий порох. Он лучше черного, то есть смеси угля и селитры. Запасов пороху на Яике хватит для завоевания турецкого султанства, а остатками можно взорвать Англию! Умеют казаки воевать... На днях истребили в степи, сожгли ордынцев.

Конские табуны у них неисчислимы. Железную руду казаки пытаются завозить баржами из Магнитной горы, которая находится где-то в верховьях реки. Но путь далекий. И плавить руду они не умеют. Хлеб сюда можно доставлять. Своя рожь у них плохая. Хлебопашество не развито. И покупают казаки зерно у торговца Гурьева. Вернее, не покупают, а выменивают на рыбу. Но надо ждать войны, недорода, засухи большой. Помнишь, брат, как Москва, осажденная Тушинским вором, платила за четь ржи по семи рублев. Мы тогда успели проскочить и взять навар. А наш вечный соперник купчишка Гурьев в 1615 году с трудом продал хлеб там же по девять алтын за четь! Опоздал! А купцу опаздывать нельзя!

Не дай бог опоздать и мне... Полотном белым, ситцем цветастым, сукном зеленым и синим загрузи мне срочно две баржи. Не забудь о платках, иглах швейных и нитках. Этими мелочами я завоюю сердца казачек: половину Яика! Вторую половину возьму в полон вином, зельями хмельными. Да, я завоюю Яик! Добьюсь того, чего не могли сделать орда, турецкий султан, Московия! Я сам буду казаком! Атаманом! Ха-ха!

И тебе, брат мой, тоже советую бросить дела в Персии, Стамбуле. Там тесно купцам. Нет простора. Там торгоши готовы порвать друг другу горло за каждый сребреник. А я здесь продаю кувшин вина... трезвому – за иохимсталер, пьяному – за цесарский ефимок.

Но обрати особое внимание, брат мой: главное богатство здесь – рыба! Золото с Яика можно вычерпать за два-три года. Рыба будет приносить богатство – тысячу лет! Если я закуплю право на перепродажу икры и осетрины с Яика, мне можно будет построить дворец из чистого золота. Подумай над этим, мой мудрый брат... Для нас опасен только купец Гурьев. Здесь, с рыбой, он опередил меня. Казаки разрешили ему построить амбары, летнюю избу возле устья реки, где у них пустующая крепостушка, обнесенная земляным валом. Пронырливый Гурьев скупает половину зимней добычи осетра. А каждой весной он увозит с учуга на кораблях по семьсот бочек черной икры. В сущности – это торговля между двумя государствами: Московией и казацким Яиком.

Боже, помоги нам сокрушить купца Гурьева! Его надо задушить любой ценой, любым способом! Он обдирает казаков, ничего взамен им, в сущности, не привозит. Рожь, медные пушки, пистолы... Вот и весь товар гурьевский. Не догадался даже вино поставлять. Шелк привозит плохой – ардаш! Как бы, брат, подкупить голутву, чтобы они разграбили его караваны в море? Людей лихих, атаманов воровских у вас много... постарайся натравить их на Гурьева.

Я здесь в шинке заметил весьма отважного казака – Нечая. Он подбивает молодых на поход в море. Яицкие казаки в морском разбое дерзки и удачливы. Они и захватили корабли Сулеймана. Дурак поймет сие по дорогим персидским коврам и фарфору, который есть тут в некоторых избах. Я попытаюсь подтолкнуть нечаевскую шайку на захват каравана у Гурьева...

Не подумай, однако, Манолис, что казаки на Яике живут разбоем. Военной добычей пробавляются запорожцы. Воровством промышляют донская голутва и волжские бродяги. Но на Дону и Волге крепок домовитый казак. Он сеет хлеб, держит скот, ловит рыбу, добывает соль и сплавляет лес. Казаков на Яике я бы почти всех назвал домовитыми! Хотя некоторые из них никогда не сеют хлеб! Не держат коров и свиней, не имеют даже маленького огорода. Живут только рыбой и полудикими конскими табунами. Многие из них равнодушны к богатству, красоте, удобствам. Если при опасности нет свинца и картечи, они спокойно рубят золотые монеты, чтобы зарядить свои пищали и пушки.

Ей-богу, ты не поверишь, брат мой! Сказка! У них здесь висит на дереве вместо колокола золотое блюдо. Огромное золотое блюдо с художественной чеканкой из могильника скифов. Ему нет цены! Это величайшее произведение искусства! Это полпуда золота, в конце концов! А варвары-казаки бьют по блюду оглоблей! У меня сердце обливается кровью, когда я слышу этот звон, колотое блюдо снится мне каждую ночь, оно меня притягивает, оно стонет в моей душе.

Подателю сего письма казаку Василию Гулевому не пожалей на водку, крендели и на кафтан суконный. Одари его шалью персидской – для женки, тремя цехинами. Казак отдаст тебе кусок мумие, завернутый в грязную тряпицу. Ты, Монолис, смолу-мумие растопи осторожно: там утаен изумруд редкий, как ягода зеленого винограда. Да сохранит нас бог! Твой брат Соломон».

Цветь пятая

Москва-матушка малинилась певчими колоколами, божно и белокаменно тянулась к небу храмами, оживляла мир торгом, воинством и верой. Кремль краснел кирпичом и рожам служилыми. Стрельцы на воротах вышитыми кафтанами горделивились. Ликовали лепотой витые маковки Василия Блаженного. Каланча Ивана Великого звала о высоком думать. Но в посаде жили иначе. В луже посередь торго похрюкивала и стонала в грязи пьяная непотребная девка с оголенным задом. Толпился народ, шумел. Мужик горшки продавал. Баба – пироги с грибами. Купцы сукном зеленым трясли. Полотно белоснежное резали. Кожами скрипели. Кадыкастый монах семенял меж лотошников, заглядывал в лики пришлых мельтешно. Уродица Ольга руку протягивала, заискивала. В душу с тошнотворным несчастьем лезла косо-глазо... Шелудивые нищие обрубки рук и ног выказывали. Одноглазый дурачок ругал царя. Лихие людишки на купецкие кошель зарились. У храма с утра безумный юродствовал:

– Вера порушится! Жабу царевна родит! Крысы нагрянут! Вы в пытках умрете на дыбе! Сын на отца желчью напишет донос! Вот он зарезал царевича! А души у вас, как летучие мыши! Будет мор, будет глад! И по вашим скелетам поползут пауки!

Проехал с грозной стражей голова Разбойного приказа – князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Воры бежать бросились в разные стороны.

Дьяк Иван Тулупов, молодой стрелецкий полковник Прохор Соломин и купец Гурьев шли к Филарету. Девять бочек икры севрюжьей поднесли они патриаршему двору с поклоном от Астрахани. Но страшно, однако. Коронован царем на Руси Михаил Федорович Романов, а правит, в сущности, отец его – патриарх. Мудростью, честностью и стойкостью славен седой Филарет. Народ почитает патриарха. Хлебнул седой отец в жизни горя горького. Борис Годунов насильно его упрятал в монастырь. Марфу – жену и сына малого, царя будущего, в темницу заточили. При смуте поляки схватили Филарета за непокорство и держали в плену восемь лет. Король польский Сигизмунд ощерился, когда царем русским стал Михаил Романов. У царя-то отец в плену! Кус выторговать можно! Плати, царь, за отца земель, золотом, городами!

Но Филарет сумел письмо утайно переправить в Москву. Запретил он сыну строго-настрого платить за свою свободу золотом и землей русской. Потому и сидел в полоне до 1618 года. Потому и зауважал простой народ Филарета.

Тулупов, Соломин и Гурьев пали на колени, склонили головы, когда в хоромину приказа вошел патриарх. Филарет благословил их, усадил на лавку, сам устроился у стола дьяка. Серые пронизательные глаза патриарха скользнули по удалцу – полковнику Соломину, чуть задержались на купце Гурьеве, вцепились остро в дьяка Тулупова. Он докладывал подробно:

– Через Каменный Пояс на Яик дорога трудна. Места пустынные. Войско не пройдет, перемрем с голоду. И с одной стороны набросятся башкиры, с другой – хайсацкая орда. Казаки добьют. Река Яик в верховьях мелка летом. От реки Белой волока нет. Ход на казачий Яик токмо с юга имеется. Морем, из Астрахани! Но казаки могут легко разбить войско в десять полков. У них есть пушки, порох делают сами. Воюют конно и на лодках-чайках. Атаманят на Яике Меркульев и Хорунжий. Вины у них великие перед шапкой Мономаха...

– Меркульев и Хорунжий искупили свои вины, когда литву в Москве с князем Пожарским побили. От келаря Авраамия Палицына о их подвиге мне ведомо! – перебил Тулупова патриарх.

Дьяк замолчал смиренно, опустил очи долу. Понял – все известно Филарету. Ведомо, что Меркульев разграбил в Астрахани амбары Тулупова, перебил его людишек... А патриарх говорит, что он искупил вины... Подумаешь, одолели пришельцев в Москве... Литву и поляков побили бы и без Меркульева... Но невозможно перечить патриарху! Надо быть хитрей...

– На Яике скрылись злодеи страшные, сотоварищи атамана Заруцкого: Емельян Рябой, Михай Балда, Гришка Злыдень, Федька Монах... Там же и Охрим – сподвижник Болотникова. Казацкий Яик не признает царской руки и патриаршей воли. Яик богат рыбой, землей, лесом. Дозорщик сообщил мне в доносе об утайной казне, которую прячет у себя в подполе Меркульев. Двенадцать бочек золотых, двадцать серебра, кувшин с драгоценными камнями. И в казенной избе – шестьдесят тысяч. За сто лет яицкие воры могли накопить и больше. Они ничего не покупают. Осетры оборачиваются для них золотым дождем... Забогатели казаки. Если захватить устье Яика, то мы их возьмем за горло...

– Я снаряжу за свой счет стрельцов, – вмешался Гурьев.

– Если на кораблях доставят тридцать-сорок пушек, я перекрою выход из Яика в море! – добавил Соломин.

Филарет пристукнул гневно посохом:

– Кто повелел вам воевать Яик? Русь истощена войной и пожарами. Крестьянские и монастырские пашни запустели. Голод и разоренье смрадят от моря до моря. Казацкий Яик, как сабля божья, отсек от нас орду. Яик спасает Русь. Неразуменье казацкое пройдет. Они поклонятся царю и церкви. Распускайте в Астрахани слухи, что мы готовим стрельцов в поход на Яик. Но не ждите войны с казаками. У нас нет сил, мы задыхаемся. Ливония, Польша, Швеция терзают наши земли на закате. Турецкий султан на юге черной тучей висит. Мятежи полыхают по всей Руси. А вы толкаете Москву на войну с казацким Яиком! Казнить вас за это надобно смертью страшной! Но жалостлив царь и милостив бог! Не дано тебе, дьяк Тулупов, мыслить державно, государственно. Молчи и выполняй наказ. Действуй так, чтобы казаки сами поднесли с поклоном землю Яика Москве, церкви русской! Как Ермак Тимофеевич! О битве думать невозможно... А ты воитель-стрелец перекрой лучше с воеводой устье Волги. Намертво загороди вход с моря. Дабы не смущал соблазн яицких казаков. Дабы убоялись воры и неприятели подходить к Астрахани с умыслом разбойным! В заморье пушай промышляют, мы за них не в суде. Торговля же с Яиком позволительна и потребна... Господи боже, помоги нам...

Патриарх закрыл глаза, прислонился к стенке и захрапывал. Больным из полона вернулся. Сидя спит. Дьяк Федор Лихачев откинул занавесь, махнул рукой...

– Выходите!

Астраханцы встали, пошли на цыпочках к двери. Гурьев покосился недовольно на Тулупова. Сто золотых сорвал дьяк, обещал царское повеление получить на завоевание Яика. Гурьев уже во сне себя видел владельцем рыбной реки, земли богатейной. А казаки – не враги. Охраняли бы купца от ордынцев. Со стрельцами.

Соломин посвистывал весело. Тулупов тяжело сопел: рухнула надежда захватить Яик силой Московского государства, отомстить Меркульеву. Патриарх простил ему вины тяжкие.

Гурьев повел друзей на торг, где их ждали повозки, верховые кони, холопы и стража. Купили два бочонка вина, окороков копченых, малосольных огурцов бадью, пирогов с маком, семь ковриг горячих. Ночевать порешили у знакомого воеводы, в поместье возле Новодевичьего монастыря, на пути от Пожара за пять поприщ. Гурьеву потребно было еще предстать пред очи князя Голицына.

Цветь шестая

Большой казачий круг шумел на дуване четыре дня. Собрались думу думать казаки Яика. Сторожи казачьи почти опустели, на вышках мальчишек оставили. Все сбегались на строгий суд, победную попойку, дележ ордынской казны. Вести дивные поражали казачество, вызывали споры, смертельные стычки, подозрения.

Суетное предложение толмача Охрима о запрете винопития казачий круг отклонил. Не хошь – не пей сам! Решением большого круга Меркульева убрали с атаманов в первый же день и вздернули на дыбу за глупый оборон брода, за гибель баб. И не могли защитить атамана Хорунжий, Федул Скоблов, есаул Василь Скворцов, Богудай Телегин, толмач Охрим, богатырь Коровин, кузнец Кузьма... Поколотили их на дуване.

У Хорунжего шелом позолоченный стащили с головы, чело ему камнем окровавили. Полковника Федула Скоблова обломком оглобли по хребту огрели. Есаула Василя Скворцова за драчливость к пушке приторочили. Охрима в лужу вонючую ликом ткнули. Кузнецу голову пробил дубовой сулицей. Отбились от разъяренной толпы только рыбные атаманы Илья Коровин и Богудай Телегин. Илья бревно над головой кружил, отмахивался. Богудай ядра пушечные с ладони метал со страшной силой. Еле успокоились, но за Меркульева ратовать больше никто не стал. Освирепела шайка Силантия Собакина. Михай Балда палачеством отличался. Емельян Рябой ему помогал. Тихон Суедов приволок жбан с плеснелым капустным рассолом для прутьев и плетей. Охотники могли по решению круга забить Меркульева до смерти. Желаеть – один раз вдарь. Охота – бей до устали. И хлестал атамана на дыбе Антип Комар за смерть своей Устиньи, за сиротство тройняшек. Увечил Меркульева Остап Сорока за погибшую женушку Любаву. Измывался, стервенея, Силантий Собакин. Михай Балда являл силушку, Герасим Добряк облил окровавленного атамана капустным рассолом, выжег нагайкой семь раз. Микита Бугай лупил, как все, чтобы не зазнавались атаманы. Ивашка Оглодай добавил пакостливо несколько ударов.

– Пей мочу кобыл! – замахнулся Устин Усатый, но бросил плеть, отошел, виновато смутившись.

Лисентий Горшков и Тихон Суедов не стали дожидаться смерти Меркульева на дыбе, улизнули с дувана, пришли к Дарье. Дочки атамановы – Олеська и Дуняша, ревут, слезами заливаются. Хозяйка на лавке сидит, окаменела.

– Плати за смерть моей любимой свет-Верееи сто цесарских ефимков, Дарья! Давай еще корову и две свиньи вдобавок! А то пойду и забью твоего Игната до кровавейшей усмерти! Ты мою Вереею забила, а я твоего Игната забью! Око за око! Зуб за зуб! Согласная ты на откуп? Али нет?

– Согласная, Лисентий Сильвестрович! – поклонилась Дарья.

Лисентий взял торопливо червонные, погнал к своей хате свиней меркульевских. Корова шла за ним на верви. Писарь жалел, что запросил мало. Дарья не торговалась, не успоряла. Значит, могла дать больше. Поторопился, дурак! Тихон Суедов, знать, поболе выжмет... А Меркульева нечего бояться. Его казнят, ежели сам не помрет.

– Вернусь, завтра приду снова, запрошу добавочный откуп! Вон ведь какую золотую бабу угробила. Да о моей Верее, наверно, сама богородица вздыхать будет слезно семь ден! Надо было запросить за нее еще одну свинью и двух овец!

Тихон Суедов в отличие от писаря не шумел, не угрожал, говорил вкрадчиво...

– Пожалейте меня, Дарья Тимофеевна. Я на свою Хевронью и ране не мог глядеть без содрогания. Свиномордна она по своей породе. А теперича, когдась ей око выкололи, она засо-всем тошнолика. Урон возместить треба, Дарья Тимофеевна. Вот этот ковер персидский со стены я приму. Семьдесят цехинов за выткнутое око добавьте. И для дальнейшей дружбы,

душевности братской отдайте перину пуховую, медный котел из бани и четыре полотенца. А овец, свиней я у вас не приму. Я не такой живодер, как Лисентий. Я по справедливости живу.

Принял золотые Тихон, выворотил из бани медный котел, разломав там печь. За ковром, периной и полотенцами вдругорядь пришел. Потянулись казаки к Дарьиной руке. Овсей пожился горстью серебра. Василь Гулевой семь ефимков выманил. Нечай просто так заглянул, но на бочонок вина взял. Гусляр-слепой и то с талером ушел. Ермошку с его пленной девчонкой Дарья накормила запеченным в сметане осердием, пирогом с грибами одарила. Совала Дарья динары Яковлевым и Тимофею Смеющеву... Но они не взяли золота.

– Казнить Игната Ваньча на дуване не собираюсь, но не могу и спасти, – развел руками Тимофей Смеющев.

Соломону Дарья заплатила за двенадцать бочек вина. Повелела выкатить угощение на дуван, чтобы задобрить народ. Но не удалось подкупить казаков. Виновным атамана признали. Стены укрепов у брода не возвел он повыше, хотя рядом были камни и бревна. Бойницы в укреплениях были слишком велики. Пищали он взял на оборон брода устарелые. Скорострельные почему-то на лодки Дарье отдал. Пушка с неполадком в бой вышла. Не увел баб на лодки опосля первого залпа. Позволил лучникам ордынским выстроиться на противоположном, более высоком берегу. И вообще атаман виновен за любой урон. Девять казачек потерял он! Десятую оставил без ока! Неможно доверять ему атаманство!

Побили жутко казаки Меркульева и бросили в яму для пленников, накрыли решеткой. Умирай за свои провинности, атаман. Попроси у знахарки навар цукуты. Стражи позволят отраву выпить. Вино, еду и яд приносить для смертников невоспретно.

На второй день выбирал большой круг нового атамана. Одни кричали Силантия Собакина, другие – Хорунжего. Свистели казаки, глотки надрывали, дрались, саблями рубились. Так и не могли выбрать атамана за весь день!

Хорунжий атаманом не стал по чудовищному воровству. Приехали утром казаки на обгорелое Урочище за добычей. Кругом тысячи обугленных коней валяются, трупы ордынцев. Все погибли, а хан Ургай и Мурза живыми остались. Отсиделись они от огня в колодце под мокрой кошмой. Но и уйти не могли, не было коней. А по обожженной степи следы видны. Настигли их казаки к полудню. Заарканили, приволокли в станицу, бросили в яму к Меркульеву. Но самое поразительное было в том, что ордынская казна исчезла! Ни посуды дорогой, ни золота! И следы конника! Кто-то из казаков ночью обшарпал Урочище, вывез казну ордынскую. Ургай и Мурза показали на допросе, что видели ночью всадника, уползли от него. Злодея казаки не нашли. Виновным за воровство черное признали Хорунжего. Ночь была лунной, мог бы он и послать сотню на Урочище. За ротозейство били Хорунжего по лицу, кольчугу у него порвали. В подполе у Хорунжего нашли схорон: в корчаге семьсот тридцать золотых – динары, цесарские ефимки. Золото не ордынское, ясно, но в наказание отобрали. Высыпали в казну войсковую.

Силантия Собакина атаманом не выбрали за глупость, за прежние грехи. Помнили, как он оставил станицы без хлеба и мяса. Собакин тупой зело. Душой: кривителен. И пустошен, жестокосерд. Ко ополчению не дерзостен. Да и харей похабно зверовиден. Без христианского приличества. Признали, что он годен токмо в набегу напоказ для устрашения противника. Силантий обиделся и ушел с дувана.

На третий день круг судил просьбу Егория – заплатить за пушку из казны. Пушкаря сразу обохотали, но разбор вели сурьезно. Выслушали всех. Кузнец Кузьма защищал Егория...

– Пушка хороша! Поставьте две таких пушки в устье реки, две на брод в укрепления, одну здесь на дуван установите... И никто не завоюет наш казацкий Яик! Но пушку надо ставить не на колеса, а на поворотный круг.

– Сто золотых пушка заслужила! – оценил Федька Монах.

– Я энтак могу тыщу пушечных стволов зажать в пазах меж бревен! Дурацкая энта пушка, пей мочу кобыл! – пренебрежительно посмотрел на Егория Устин Усатый.

На атаманов камень взобрался Нечай. Он поклонился казачеству, тряхнул русыми кудрями, скрестил могучие руки на груди.

– Послушайте меня, казаки! Мы оцениваем болтовню. Плохой у нас базар. А я могу делом доказать, что пушка Егория не стоит алтына. Ставьте моей сотне сорок золотых из казны на пропой. Всего сорок золотых! Я пойду конным боем на брод, пойду с нагайками противу двенадцатиствольной пушки! А Егорий пушай стреляет! Не репой стреляет, а всурьез, как по ордынцам – железной сечкой. Ежли хучь один казак из сотни моей получит царапину, то брошу в казну войсковую триста своих золотых. И под ваши плети лягу! Могу голову дать на отрубление! Клянусь!

– Врешь, трепач! У ты не язык, а коровий хвост! Я за один залп смету твою сотню! Спроси у Кузьмы... мы стадо сайгаков скосили пушкой! Спроси у баб! Спроси у Меркульева... мы пятьсот... мы семьсот ордынцев побили из этой пушки, когда брод защищали!

– Пятьсот... семьсот! – передразнил Нечай.

И порешил казачий круг устроить потеху. Нечая с его сотней бросить на переход брода со стороны ордынской степи. А Егорию защищать брод пушкой, стрелять картечью. На брод пришли все, даже слепой гусяр. На двух подушках лежали награды. На рогожной – три серебряных копейки. На пуховой с красной шелковой наволочкой – сорок золотых. Любопытство жгло казаков, баб, ребяташек. Кто же возьмет сорок цесарских ефимков с красной подушкой? Кому достанется смехотворный алтын на рогоже? Победу единодушно предрекали Егорию-пушкарю.

Соломон привез на брод семь бочек вина, кружки. Фарида угощала казаков, гостей, бородачей с дальних становищ. Бесплатное угощение веселило душу, умащало. На вертелах жарились двенадцать баранов. Они сочились зарумяненным жиром, курились вкусным дымком.

– Угощайтесь, казаки! Приголубьте чарки и вы, бабы! – кланялась Фарида.

Все понимали, что угощает казаков Дарья. На колени, значит, становится, молит Меркульева помиловать. Зла к нему у многих не было. Но пусть полежит атаман в яме. Потеха у казаков. Им не до атаманов! Нечай нахвастался брод с нагайками захватить! Это антиреспективней!

– Как Нечай через картечь проскочит? – толкнула Олеська Ермошку, потерлась своим плечом о его плечо.

Дуняша стояла рядом, держала за руку пленную девочку-ордынку.

– Как, Ермош, зовут твою пленницу? – пыталась Дуня отвлечь внимание парнишки от Олеськи.

– Глаша! Я зову ее Глаша! Она отзывается!

– Не мешай, Дунь! Залезь с Глашкой на правый укреп. Вон туда, на бревно сядьте. А то нечаевцы стопчут вас конями!

Гудела толпа на бугре. Спорили казаки. Баранов и лошадей, золото и сабли на кон ставили. Вино пили не все. Ели гусей, запеченных в глине. Ковриги ржаные ломали...

– Я разгадал хитрость Нечая! – шлепнул себя по лысине Охрим. – Нечаевцы пустят наперед коней, а сами за хвостами будут прятаться. Егорий выстрелит! Второй раз он не успеет пальнуть. Заряжать долго пушку. Казаки потеряют коней, а брод перескочат! И проиграет дурень Егорий! Получит он за пушку о двенадцати стволах три копейки. Ай да Нечай!

– Не городи, Охрим! Так-то поранит и побьет некоторых казаков Егорий. Пушка у него сурьезная! – возразил полковник Федул Скоблов. – Конями от такой пушки не загородишься полностью! И кони метнутся, побьют казаков копытами!

– Тогда проиграет Нечай! – хлопнул в ладоши Гришка Злыдень.

Бравая сотня Нечая перешла брод, скрылась за холмом. Егорий заряжал стволы, зажигал фитили запальной решетки. В бревнах укрепления все еще торчали ордынские стрелы. Вот здесь Устинья Комарова лежала мертвая... А как Нечай мыслит перескочить брод? Конечно,

он пустит впереди коней. Залпом из пушки побьет сорок-пятьдесят лошадей. На остальных они вскочат по два, спокойно перейдут брод. Пушку быстро зарядить в одиночку невозможно.

– А я его обхитрю! Я обману Нечая, казаки! – начал рассуждать вслух Егорий. – Пустит Нечай впереди коней. А я погашу один фитилек на запальной решетке! Выстрелю по коням! Казаки прыгнут на оставшихся лошадок, пойдут через брод без опаски. И тутя беда случится для Нечая. У меня один ствол в запасе! Жахну я из одного ствола по куче казаков! Двадцать-тридцать могу побить! И пусть бога молят, что я не оставлю в запасе три-четыре ствола! Дурни безголовые! Куда им супротив моей пушки, моей сметки.

– А ежели нечаевцы оставшихся коней удержат в руках, да не сядут на них, а снова за ними пойдут? И стреляй второй раз хоть из десяти стволов! Пройдут они! А коней не жалко! Коней у них лишку! – хлопнул по плечу Охрима сотник Тимофей Смеюшев.

Но пророков в станице не оказалось. Даже Хорунжий не разгадал хитрость Нечая. Хорунжий говорил, что нечаевцы набьют рубахи песком, положат их перед собой на коней.

– И я бы этот брод взял, не потеряв ни одного казака! – сплюнул Хорунжий. – Так просто! Ставь впереди себя на коня куль с песком! И – пошел!

Выскочила нечаевская сотня из-за бугра слева. Пролетели казаки птицами через степь, но не полезли вброд. Взяли они выше чуть по течению, бросились в реку с высокого обрыва. А здесь на реке слийный заворот крут и стремителен от берега к другому берегу. Дух у народа перехватило, когда казаки-нечаевцы летели с кручи. И взревела толпа. Все поняли, что течение за миг перекинет сотню казацкую к этому берегу. И вылетят конники точно перед укрепом, где стоит пушка, но чуток сбоку!

И Егорий-пушкарь понял нечаевскую хитрость. Заметался он, засуетился, пытался развернуть пушку. Но двенадцатиствольная громадина не шевелилась. Старикашка кричал, пыжился, просил помочь... Но казаки кричали неистово, свистели, стреляли из пистолей. Бабы хохотали, визжали. Детишки издали в пушкаря камнями бросали. Соломон и Фаридка прыгнули в укреп к Егорию. Фаридка подсекла старика подножкой и толчком запихнула его под пушку, как пим под печку. Укрылся под орудием и шинкарь. В самый раз спрятались. Бешеные кони нечаевской сотни перескакивали стены укрепления. Комья земли к небу взлетали. Свистели и щелкали нагайки. Каждый казак норовил врезать по Егорию. Досталось Соломону и Фаридке!

– Мне показалось, что на нечаевскую сотню смотрел даже наш слепой гусяр! – ухватила Олеська за руку Ермошки.

– Как это слепой смотрел? У него ж бельма!

– Бельма исчезли на миг. Глаза у него были такие серые, умные!

– Не смей меня, Олеська!

– А мы с Глашей милуемся! – вздохнула подошедшая Дуня.

Потрескивал рядом баран на вертеле. Соломон показывал казакам кровавый рубец на плече от нечаевской нагайки. Фаридка улыбалась, вино разливала. Микита Бугай третьего гуся доел, за барана в одиночку принялся. Овсей плясал с пустой кружкой. А Нечая на красной шелковой подушке сорок золотых поднесли. А Егорию за пушку о двенадцати стволах три копейки на рогоже!

До звездной ночи веселились казаки. А в потемках от избы к избе ходили Дарья Меркульева, Нюрка Коровина, Марья Телегина, Лизавета Скворцова и другие бабы, за атамана просили. К милости казаков призывали, раздавали золото и серебро. Дарья отдала свои последние серьги. На дворе не осталось ни одной животины. Семьдесят овец раздарила, шесть коров, тринадцать свиней. Три курицы остались и петух.

В шинке за Меркульева Соломон казаков просил. За здоровье атамана, за милость к нему указал вино наливать задарма! Богудай Телегин, Илья Коровин и Нечай начали избивать тех, кто был супротив Меркульева. Изувечили шибко Силантия Собакина, отбили ему печенки. Хорунжий со своей шайкой порубил ночью саблями семь человек. Тех, кто его бил на дуване.

Лисентия Горшкова какая-то баба ночью вилами заколола. Проткнула и скрылась, не поймали. Рукоять у вил обломилась, железы из груди писаря торчали. Михай Балда и Микита Бугай перекинулись на сторону меркульевцев. Ивашка Оглодай переметнулся к Хорунжему. Заболелся, что убьют! Полк Федула Скоблова вооружился пищалями, встал табором у дувана.

На четвертый день Меркульева вытащили из ямы, помиловали единогласно и вновь избрали атаманом.

– Ура! Ура! – прокаркала с дерева, должно быть, по этому поводу, знахаркина ворона.

Цветь седьмая

На день летопроводца упал иней морозный, но солнце с утра быстро подсушило и выжелтило степь. Сурки любопытные выглянули, встали на задние лапки. Теплынь хмельно загустилась над полынью. И полетели серебряно паутинки. Бабье лето зачалось.

Преобразилась станица, готовились казаки к постригу. Соломон нанял казачек прилежных. Они новую его винокурню глиной обмазали, побелили. Над шинком умельцы Матвей Москвин и братья Яковлевы почти задарма надстроили резную башенку с окошками. Шелом у башенки изладили островерхим. И копьё с медным петухом над шеломом водрузили. От петуха – глаз не оторвешь. Ногой шпорастой к острию копья приклепан. Хвост, как хоругви в бою! Клюв воинственно раскрыл, шею изогнул, вот-вот загорланит. Кузьма и Ермошка чекали птицу из розовой меди. Фариды сама свой шинок глиной выгладила, известью выснежила. Храм получился, а не шинок! И боковая пристройка выглядела баско. По ночам окошки на башенке светились. И выходила вся станица поглядеть на диво.

Бориска, сын кузнеца, ходил с кистями и красками самодельными возле шинка. По совету расстриги Овсея, с полного согласия Фариды, намеревался мальчишка нарисовать на стенах шинка картины страшного суда. Хорошо малевал Бориска. Лики станичников точно выводил. Хорунжий свою парсуну у него заказывал, заплатил дорого. Олеську, дочку атаманову, Бориска за десять золотых рисовал. Пронзительно, до слез, изобразил он матушку свою Лукерью, погибшую на защите брода. Четырнадцать лет Бориске, а он творит чудеса, зарабатывает на хлеб. Толмач Охрим был когда-то в чудной стране Венеции. С Иванкой Болотниковым он попал туда, когда их с галеры из цепей немецкий корабль освободил. Много картин славных и великих художников повидал дед. И говорит Охрим, что у Бориски редкий дар! А Михай Балда уверяет, будто это от нечистой силы! Для Дарьи Меркульевой нарисовал Бориска икону богоматери. Аксинью с Гринькой изобразил. Вся станица бегала смотреть на потрясающую богородицу. Некоторые хихикали ехидно. Но Дарья водрузила пресвятую мать в золотой иконостас. Последние дни Бориска рисовал за просто так масляными красками на дубовой доске Дуняшу Меркульеву. Дарья ахнула, глянув на парсуну дочки. Но мальчишка соскоблил девчонкин лик, смыл краски маслом из конопли.

– Из глаз Дуняшкиных ты, Ермош, выглядишь печалью! – сказал Бориска.

– Не мели шелуху! – отмахнулся Ермошка. – Мы свадьбу с Олеськой будем играть. Обговорили уже тайно. Я кровью клятвенно суженую окропил. Вот рубец на пальце, вишь! Не видно? Тогда ты слепошарый! Ша, Бориска! Невеста у меня приглядная... И целовались мы уже по-настоящему у речки. А ты ить и девок-то еще в жизни не целовал. Энтю, брат, уметь надо. Но ты не горюй. Могу тебе подарить свою пленную Глашку. Вырастет она, и ты на ней женишься. Так дешевле. Свадьба маленькая будет, без разору. Да и на пленной можно жениться без свадьбы. Таков обычай казацкий!

Мимо прошел, торопливо тыкая палкой в землю, слепой гусяр. Был он чем-то неприятен мальчишкам. И песни не умел он ладно петь. Охрим часто отбирал у слепца гусли, сам исполнял сказы и стоны казацкие. Не гусяр, а нищий! И на Яике недавно появился. А старого гусяра кто-то отравил ядом. Славный был старик-гусяр, по прозванью Ярила.

– Бежим к загону! Постриг начинается! Там уже табун жердями закрыли! – запрыгал Бориска.

В загоне, возле дувана, метался полудикий табун. Бабы стояли строго. Белели нарядными телогреями, алели кумачами, красовались дорогими шалями. Были казачки и в холстину, и в сарафаны из ардаша одетые, но чистые, праздничные. В длинных безрукавках из мездры. С бусами, ожерельями, в сапожках сафьяновых, в чеботах, плетенных из кожи сыромятной. Уши в серьгах. Выстроились они в ряд, на плечах отроков держат. Исполнилось три года агнцу, чуть

боле – неважно, сади его в день летопроводца на коня. Закинет мать дитятку на жеребца, руки отпустит... А отец ударит по лошади плетью. И понесется взыгравший конь в степь. Упадет мальчишка, разобьется насмерть – значит не казак!

Суедиха кхекала, совала своему Тихону ломоть хлеба. А он зазевался, не заметил, забыл об уговоре.

– Угости коня, пока я мальчика усажу! Чаво хлебало-то разинул? Да не шаперься ты, боров потливый!

– Потише, Хевронья! Люди слушают! – огрызнулся Тихон, принимая украдкой хлеб.

Хорошо заплатила знахарке Суедиха. Колдунья снадобье усмирительное для коня наварила. Сунь в рот коню – и он оквелеет. Смирным станет, будто корова. Пробежит малость и остановится. Хоть огнем жги – не поскачет! От обиды и горя горького пошла Хевронья к знахарке. Позор не покидал дом. Три года подряд разбивались ее чадушки. Будто чье-то проклятье из прошлого или будущего висело над куренем. С Хевроньей уже и бабы у колодца разговаривать брезговали. Марья Телегина коромыслом ее огрела: мол, прочь! Не погань своей бадьей криницу! Пришлось свой колодец на огороде выкопать. А вода там желта, вонюча. Не вода, а моча!

Но не одна Суедиха обращалась к ведьме-знахарке за помощью. Снадобье усмирительное подсунули незаметно коням Параха Собакина и трусоватая Нюрка Коровина. Обдирательно взяла с них знахарка за зеленые комочки варева. Параха отдала два мешка ржи, куль проса, три овцы. Нюрка – бочонок масла, две свиньи, телку, шаль и туесок соли! С домовитых и богатых знахарка всегда берет нещадно. Не любят они за это колдунью.

Аксинье знахарка снадобье предлагала задаром:

– Возьми! Слабенький у тя Гринька-сынок! Разобьется! Ручонки-то у него, как соломинки!

Аксинья осердилась на знахарку, разгневалась:

– Гринька мой – казак! Как ты посмела, карга, сумлеваться?

Оттолкнула грубо Аксинья знахарку, та попятилась, споткнулась чеботом и упала в лужу, где хрюкала огромная пятнистая свинья. Зловеще зыркнула глазами старая ведьма.

– Ратуйте, люди честные! Казните ее, казаки! Энта баба-яга сует мне снадобье усмирительное для коня на постриге! – кричала Аксинья на всю станицу.

– Нетути такого снадобья! И не будет! Брешешь ты, Аксинья! – озлобилась тогда Суедиха.

Боялась Хевронья, что раскроется тайна варева нечистого. Хорошо, никто не поверил Аксинье... Могло быть хуже.

– Зазря ты изобидела колдунью. Глупа ты от молодости, Аксинья. Наворожит Евдокия... и упадет с коня твой Гринька. Убьется. Али другую наведет порчу ведьма! – шептала Параха Собакина.

Казаки арканили коней в загоне, выводили их на рубеж. Бабы усаживали ребятишек на жеребцов, совали в детские ручонки гривы. А на сердце кошки скребли, а душа болела. У Меркульева за поясом пернач, а в руке пистоль. Сапоги бухарские серебром шиты, со шпорами, шаровары из красного сукна. Рубаха та же, белая в петухах. На голове шапь заломлена лихо. Все ждали, когда атаман выстрелит из пистоля. У Нюрки Коровиной губы подрагивали, рыжие пятна на лице потемнели. Она пыталась заглянуть жалостливо в глаза мужу:

– Слабенький у нас сынок уродился, Илья! Хилой он, скрозняком его вчерась угораздило. Всю ночь на печке покашливал.

– Какой же он хилак, коли конь под ним прогибается? И руки крепкие. Вцепится – кожи клок вырвет с мясом!

– Поел-то он плохось утреча, – хныкала Нюрка и воровато, таясь от мужа, подсовывала коню усмирительное снадобье.

Конь съел варевое знахаркино, затих сразу, стоял понуро. Илья ходил вокруг него, пожимал плечами...

– Дохлый конь, паршивый! Сымай сына, Нюр! Я другого, погорячей, в загоне отловлю!

У Нюрки очи заморели, белый свет потемнел. Сорвалась ее хитрость с варевом знахаркиным. И пропал бочонок масла! И пропала телка чая с белым пятном во лбу! И две свиньи плакали! И шаль кистями помахала прощально. И туесок берестовый с крупной солью не вернешь! А ребенок слабенький, разобьется! Не коня, а зверя приволок Илья!

Меркульев окинул строй зорко. Бабы детишек на коней посадили. Казаки плетками покручивают, сдерживают с трудом дикарей степных, ждут выстрела. Замедляет постриг Паша-персиянка. Она сипит, царапается, отбирает сыночка у своего мужа – Емели Рябого. Над ним похохатывают. Мол, вот как жениться на пленной кызылбашке! Не баба, а пантера царапучая!

Соломон и Фарида бочки с вином выкатили. Братину-уточку расписную на полотенце белое возложили. На вертеле-жерди с коловоротом сразу восемь баранов жарились. Девки столы под небо ставили. Старухи несли на блюдах поросят в хрене. Юницы кружки и кувшины с поклоном подавали. Мальчишки караваи тащили, на ходу корки румяные обгрызали. И получали за то, паршивцы, подзатыльники!

Емельян Рябой изловчился и так лягнул свою персиянку, что она отлетела от него, перевернулась и завывала по-басурмански. Значит, на своем поганом языке ругала и проклинала Емелю.

Меркульев выстрелил из пистоля. И ударили казаки коней нагайками. И зажмурились от ужаса матери. И понеслись дико жеребцы, рубя копытами степь. Солнце задрожало, как золотой динар на платье у пляшущей башкирки. Ковыли полегли седовласо. Потемнела река на стремнине. Загудела утробно земля. А отроки казачьи вцепились в гривы конские, лишь бы не упасть!

– Я начинаю понимать величие этой дикости! – сказал Соломон.

Но Фарида его не слушала. Засверкали черно искорки в ее ордынских глазах. Вздудись, затрепетали ноздри. А казаки кричали, улюлюкали, свистели, палили из пистолей и пищалей. Одаривали друг друга любезными тумачами, от которых могли сломаться ребра быка. Алеська и Дуняша на шею Ермошке с двух сторон бросились. Глашка укусила Дуню до крови, а в Олеську вцепилась зубами намертво, еле оттащили!

Аксинья с радости прыгнула на жеребца, понеслась за табуном. Вон скачет ее Гринька первым! Лихо скачет, не кособочит. Настоящий казак, как и отец его утайный – Богудай Телегин. И Дарья Меркульева прослезилась чуток: сынок ее Федоска не упал! Домна Бугаиха, как труба ратная, окрестности сотрясает: цепко держится Бугаенок! Федула Скоблова отпрыск сидит на скачущем коне прямехонько. Малец Тимофея Смеющева всех поразил: два раза срывался, на ручонках висел... еле за гриву держался. И надо же! Снова вскарабкался! Тройняшки погибшей Устиньи, как с рожденья на коне сидели. Маленькие Яковлевы – Володяй, Ляксей и Аркашка – строем несутся, бок о бок... Марья Телегина на своего Фролку даже не глянула. Стоит она гордо, спокойно, величаво, темную косу переплетает. Мол, мой Фролка с коня не может свалиться. Он породы – казацкой, чистой! И вправду, казацкая кровинка у Фролушки. Колотит он коня пятками по шее. Недоволен: не борзо скачет! А у Нюрки Коровиной от счастья великого два синих ручья по лицу струятся. И рыжей бабой теперь ее не назовешь. Вся озолотела от радости и солнца. Жеребец все еще бесится, прыгает, на дыбы встает... А рыжий крепыш – Коровинчонок одной ручонкой уцепился за гриву, другой размахивает, будто врагов изничтожает сабелькой!

Поднял Меркульев бронзовый пернач, махнул им вслед табуну... И поскакали казаки сторожевые в степь снимать маленьких наездников с коней, своих и чужих.

Охрим читал громко стихи какого-то древнего грека. Но никто об этом греке не слышал даже, кроме шинкаря. Потому Михай Балда разбил о голову толмача арбуз. Дабы успо-

коить разгоряченного Охрима. Овсей пил пиво, извергал мудрости святого писания. Предлагал поставить в станице церковь. Но расстриге внимал токмо Бориска, сын кузнеца. Ермошка зализывал Глашкин укус на лодыжке Олеськи, залеплял рану подорожником. Слепой гуслияр выбрал неведомым чутьем самого румяного поросенка на блюде. Дуняша бросила в яму хану Ургаю и Мурзе два больших куса вареной конины. Опустила она им и бурдюк с кумысом. Казаки окружили атамана и Хорунжего.

– Мой... чуть было не свалился, пей мочу кобыл!

– Ежли бы упал стервенец мой, скормил бы собакам! Клянусь! – крестился Герасим Добряк.

Дивился Хорунжий, дивился атаман, дивились станичники и гости...

– Ни один не разбился! Ни один не упал! Даже Суедихин ублюдок удержался! Давно такого не было!

– К войне энто! К мору, мабуть!

– И бабы последние четыре года у всех токмо отроков рожают!

– Ин так! Ни одной девки не уродилось!

– Быть большой погибели! Смерть нависает над Яиком!

– Не каркайте! Не портите веселье, – оборвал казаков атаман.

– Разливай, шинкарь, вино! – браво хлопнул в ладоши Хорунжий.

– Ты, Тихон, медный котел верни! – шепнул Меркульев Суедову.

– Завсегда верну, Игнат Ваньч. Я живу по справедливости. Я боле для сохранения принял, чем для откупа. Разграбили бы добро у вас. А я уберег.

– И ковер мой персидский обратно принеси! Остальное дарю! – процедил сквозь зубы Меркульев, чтобы другие не слышали.

«Шкуродер! Кровопивец! Зазря мы ты не казнили!» – подумал Тихон, но улыбочиво раскланялся.

– Казаки, надоть совершить постриг и нашему самому дорогому младенцу на Яике – шинкарю! Мож, посадим его на дикого коня? – обратился к станичникам Герасим Добряк.

– Посадим! – поддержал Матвей Москвин.

– На жеребца его! – обрадовался Гришка Злыдень.

– Бросай шинкаря на коня! – загорелся Нечай.

– Валяйте, – поддался Меркульев.

– Братья мои, казаки! Отпустите меня живым! Какой узе прок вам от моей гибели? Я поставлю задарма двенадцать бочек вина! Пожалейте! Помилуйте! Заступитесь, люди добрые!

Но Соломона никто не слушал. Микита Бугай и Устин Усатый уже выволокли из загона бешено лежащегося жеребца. Балда и Нечай забросили шинкаря на хребет коня, щелкнули нагайками. Жеребец встал на дыбы, поплясал тряско, стараясь сбросить наездника.

– Держись, Соломон! – закричала Фарида.

Конь прыгал, подбрасывал зад, выплясывал, извивался и щерил зубы, пытаясь укусить шинкаря за колено. Тимофей Смеющев и Василь Скворцов хлестко выжгли жеребца нагайками одновременно, уязвили под брюхо огненной болью. Обезумел вожак табуна, прыгнул через головы казаков и помчался в степь. Давно не видели станичники такого стремительного галопа. Казалось, что конь и земли не касался – летел!

А шинкарь не падал, держался. Он изогнулся нелепо, обхватил шею разъяренного коня. Ноги всадника то болтались, то прижимались к бокам лошади. Фарида не выдержала. Все показывались со смеху, а она метнулась на сторожевого жеребца, понеслась вслед мученику.

Вскоре они вернулись из степи мирной рысцой... конь о коня, оживленные. Шинкарь, правда, был чутье бледен. И с коня он сойти не мог. У него от пережитого страху подкашивались ноги. Братья Яковлевы сняли Соломона с коня, как ребенка. Его посадили с почетом на атаманов камень. Меркульев улыбнулся хитровато и срезал булатом под самый череп огром-

ный клочок волос. На голове шинкаря образовалась лысина. Хорунжий насмешливо похлопал Соломона по плечу:

– Держись, казак, атаманом будешь!

И загуляла станица. Но цены на вино шинкарь после глума повысил. Решали казаки за вином и дела. Утвердили Матвея Москвина войсковым писарем. Хана Ургая и Мурзу присудили отпустить в орду без вредительства. За выкуп: семь тысяч баранов, двести пластов верблюжьей кошмы и триста возов руды медной. Потребна была руда для пушек.

Цветь восьмая

Железо рдело в горне, отпыхивались загнанно меха. Ермошка взмокшел, приустал, но вскидывал кувалду бодро, бил часто, точно и сильно. Бориска держал огонь: качал воздух. Ему было за всех тяжелей. Кузьма поковку клещами сжимал, ловко ее перевертывал, дакал молотом малым, показывал удар бойцу большому. На всю станицу пела кузня. Дзинь-дзун! Дзень-дзон! Дзинь – это кузнец Кузьма. Дзун – это молотобоец Ермошка. Дзень – это смекалка, замысел. Дзон – это сила, воплощение!

И выходили юницы, девки, бабы и казаки из хат, землянок, добротных изб послушать звонницу кузни. Пронзительно и призывно поет наковальня, когда куется сабля, булат. Плачет радостно, по-девичьи, железо при рождении серпа и косы. Заливаются смехом задорным молоты от подковы. Стонет глухо и подземно округа при обмятии заготовки для смертоубойной пищали. Разными голосами поет кузня-матушка, кузня-оружейница. Таинственны и непостижимы иногда ее рыдания, клики, стоны, туканья суетные и глаголы велеречивые.

Дуняшка Меркульева хорошо понимала язык кузни. Вот нырнул в воду с лебединым шипом дзинь-дзун. И зазвучало серебряно дин-дон, дин-дон! Острогу для зимнего подлёдного битья осетров заостряет кузнец. А молотом бьет Ермошка. У него наковальня молодо заливается звоном, зовет ласково. В кузне окромя покручников многие казаки часто тешатся. И всех Дуняша с закрытыми глазами издали по звучаниям уличает. Когда Микита Бугай за молот берется, по земле дрожь. У Емельяна Рябого звуки грубые, рыкающие. От Устина Усатого ленивостью веет. Нечай силой напорист, но недолговечен. Богудай Телегин надоедлив могучностью. Матвей Москвин – говорлив и хвастлив перекликами железными. Тихон Суедов хитрит, выпрашивает, выведывает. Илья Коровин ломает рукояти молота, наковальню может расколоть. А не вливается мудрость в железо. И нет в перезвонах у него веселья, весны.

– Баста! – выдохнул кузнец, увидев Дуняшку.

Ермошка бросил молот, наклонился, окунул голову в корыто с водой. Сел обессиленно на чурбан у клетки с углем. Бледнолицый Бориска вышел, шатаясь, на ветер. Возле кузни ползала на четвереньках и ела солоделую бзнику чумазая Глашка.

– Отец мой призывает старшину, Кузьма Кузьмич, – вымолвила Дуняша, – кланяясь, держась пальчиками за подол алого сарафана.

– Вострая надобность?

– Там дед Охрим, полковник Скоблов, новый писарь, Хорунжий с есаулами. Ожидаячи, беседуют любо-мудро, без вина и снеди.

Кузнец снял суконный передник, ополоснул руки в бочке, вытер их тряпицей. Глянул на Дуняшку из-под косматых бровей, но девчонка в огонь зелеными глазами уставилась, молчала.

– Задуши горнило, Ермолай! – бросил он, вышел из кузни и зашагал крупно, вразвалку к дому атамана.

Понял Кузьма, что собирается на совет казакская старшина. Там он равный посеред равных. А богатством и положением, по сущности, выше многих. Голодрань и пьяниц он не любил. Уважал казаков работающих.

– Богатство от работы возникает! – любил поучать кузнец.

Поучал других кузнец, сам работал, но покручникам норовил заплатить поменьше. За сабли булатные с казаков богатых шкуры снимал. А за пищали и пистолы из казны войсковой золотишко выкачивал! Имел схорон богатейный. И где тот схорон, даже его сын Бориска не знал. Лукерья покойная не ведала! Держал их кузнец подале от соблазну.

Дуняша проводила взглядом кузнеца, подошла к Ермошке.

– Желаю здравствовать долгие лета, Ермолай Володимирович!

– Чудная ты, Дуняш!

– У меня к разговору сурьезность душевная.

– Говори, так и быть.

– Как бы выразить... Зазря у тебя, Ермошка, намерения к моей сестре. Не чуешь ты Олесю. Изменчива она. И нет у нее к тебе святой уважительности. Я вот жалею тебя на всю жизнь, с верностью!

– Все перемелется! – ответил неопределенно Ермошка.

У Дуняши скользнули слезинки. Она резко повернулась, перескочила порог и побежала к реке.

– Блажит девчонка! – вышел из кузни и Ермошка.

– Пошто обидел девчонку? – спросил Бориска.

– Отбою от энтих девок нет! – подмигнул развязно юный молотобоец.

Бориска сидел на камне, рисовал на песке прутиком рожицы. Глашку понос прошиб с ягоды бзники.

Глашка отошла подальше на шесть шажочков, присела.

– И кого я взял в плен? Ты глянь, Бориска! Разве из нее вырастет царевна? Вырастет чучело! Дристунья!

– Ты обещал мне ее подарить, давай!

– Бери! Она до ужаста прожорлива! Всю репу на соседних огородах погрызла! Такую прокормить неможно!

Глашка подбежала к Ермошке, уцепилась за ногу испуганно. Глаза, будто у косули бороной. Говорить не умеет, а все понимает.

– Ладно, не бойся! Не отдам! – поерошил Ермошка ласково девчоночью стриженную под овечку голову.

– Глашка, мож быть, выправится, захорошеет перед свадьбой? – прищурил весело глаз Бориска.

Она отскочила и показала язык. Не проняло. Тогда Глашка повернулась спиной, заголила рубашку, задницу свою желтую выставила. Дразнится, значит. Глупенькая! Ребенок и есть ребенок! Везде дети одинаковы: у казаков, греков, кызылбашей, ордынцев.

Ермошка сорвал стебель крапивы, в два прыжка настиг девчонку, выжег по голой заднице. Глашка завопила, но еще раз показала язык. И побежала в огород знахарки. Там бобы не убраны, черные, из стручков вываливаются. Пропадет добро. И молоко с крошками хлеба в чашке у кота. И кость можно баранью отобрать у собаки-волка.

Крякнул Ермошка, будто кузнец, для важности. Присел супротив дружка. Не знал он, как начать разговор о том, что его мучило...

– Твой батя, Бориска, может брехать по-черному? – спросил Ермошка.

– Нет! Никогда, клянусь!

– А вот когда вилы вынули из ребер мертвого Лисентия, я понял, кто его убил. Тихон Суедов приволок те вилы в кузню. С обломленным череном. Попытал он ласково твоего батю. Мол, вспомни, ради бога, Кузьма, кому ты энти вилы изладил? Твой батя оглядел вилы, бросил их в горн. Меха сам начал качать. «Де, иди с миром, Тихон! Мы в год сотню вил делаем на продажу. Все рогули одинаковы». Но ведь, Бориска, сам понимаешь: такого быть не может! Оpoznал я трезубцы. Батя твой тож померк. Меркульеву ковали мы те вилы!

– Значит, Лисентия Горшкова убила Дарья? – поднял бровь Бориска.

– Дарья! А твой батя укрыл ее от возмездия!

– Что ж она, озверела? Верю убила! Лисентия ялами порешила! Уж не за свиней ли и корову?

– Мож, за корову, за свиней! Тихон Суедов возвернул ковер персидский и медный котел, потому живет. За еднй котел для бани и я бы его убил.

– Котел, знамо, богатство! – согласился Бориска.

* * *

Кузьма огладил русую кудреватую бороду. Пошабаркал подошвами сапог о вехоть на крыльце. Вошел в избу атамана. Добротно рублен дом. Венцы бревен смолистые, в обхват. Мох в пазах бархатный. Крыльцо высокое с навесом, столбами. Ставни и наличники резьбой изукрашены. Труба из кирпича цвета малины спелой. Тын крепостной. Кобели на цепях рыкают, яко звери. С крыши, из бойниц выглядывают пищали заряженные. Изнутри богатство еще утвердительней. В сенях двери чуланов на железных засовах. Тулупы и шубы белые. Лари с крупами, рожью, мукой белой. Бочки с медом.

За первой дверью – кухня просторная. Плахи лавок и полатей широкие, прочные, гладкие. Печь русская с печурками затейна. Шесток из толстого листа меди. Слюда в окнах светлая, без трещинок. В одном оконце стекло заморское. В горницах перины, одеяла стеганные, подушки шелковые, рухлядь красная. На коврах сабли и пистоли. В двух углах иконостасы червленые золотом. Супротив шестка на стене полки узорчатые с дорогой посудой, фарфором и кубками, деревянными ложками и плюсками из глины, чашами и кринками. Рушники один другого петухастей. В корчаге киснет квашня. Из печи горшки с рыбой-запеканкой и мясом, тушенным в чесноке, шибает в нос. Домовиты Меркульевы. У них и коровник во дворе богаче, чем хата Емели Рябого. В оконцах бычьи пузыри и топятся по-черному землянки до сих пор у Михая Балды, Гришки Злыдня, у Василя Гулевого и другой голутвы.

А Меркульев по-княжески живет. Впрочем, у Ильи Коровина хоромы не беднее. Богудай Телегин даже богатейнее. У Матвея Москвина вода по трубам оловянным в кадки течет.

Кузнец поклонился, сел сразу на скамью к порожнему от еды и чаш столу. Угощения не предвиделось. Собралась старшина казачья на совет. Полковник Скоблов свою бородку иисусовскую задумчиво охорашивает. Охрим лысиной премудро блеснит. Рыбные атаманы Илья Коровин и Богудай Телегин кулачищами по столу потукивают. Хорунжий сидит с есаулами... Матвей Москвин перо гусиное заострил, ус шляхетский крутнул, сготовился писать грамоту уговорную. Атаман кивнул чуть заметно жене. Дарья взяла на руки малого Федоску, вышла на крыльцо.

– Уговор записывать не будем, – сказал Меркульев. – Дума такая, казаки. Утресь обнаружил я чьи-то следы в моем подземелье. Злоумышленник со стороны реки приходил. Не вскидывайтесь! Не похитил вор почему-то ни одного золотого! И даже кувшин с драгоценностями цел. Жег злодей лучину, сокровища наши осматривал. Следы на глине свои оставил. Вот гляньте: вырезал я в глине один отпечаток сапога. Каблук из двух набоек. С косинкой. Найдем вору! Слава богу, пока обошлось. Клятвой мы, други, повязаны! Заботой о земле Яике! Неможно казну раскрывать утайную до страшного или красного дня! Потребно схоронить ее в другом месте. Срочно! Не мы, дорогие мои есаулы, скопили богатство. Сто пятьдесят с лишним лет прятали, умножали понемногу наши отцы, деды и пращуры сие сокровище! Первый бочонок Василь Гугня скопил, говорят. Два – лихой атаман Кондрат Чайка оставил. Увеличил зело мой дед, что сгинул в море Хвалынском на стругах. Удачливый Митрий Блин все золото у кызылбашей вытряс. Атаман Скворец горсть смарагдов из набега приволок. Дед Остапа Сороки – кольца и серьги дивные. Смеющев – кувшин золотой арабский. От рыбы белой и красной дожди золотые в наши бочки падали! Неможно нам, братья, разделить или присвоить эти богатства. И утерять неможно. А Московия усиливается. Того и гляди набросится на Яик, оседлает устье реки, закроет выход в море. И все боле у нас людишек пришлых. Пьянчуги, голутва и казакишки пустошные силу на кругу имеют. Прознают они об утайной казне и побьют всех нас! Не обогатеют сами. Побьют нас, а золотишко поделят, пропьют, промотают! Двенадцать бочек золотых, двадцать – серебра и кувшин с драгоценными камнями надо вывезти завтра же на

лодках-парусниках. Вывезти и закопать где-нибудь в пустом месте, на верховьях реки. Туда нет дороги ни с юга, ни с севера!

– Далекий и трудный поход! – вздохнул Хорунжий.

– Ветер-южак на все бабье лето пришел, в день на парусах можно по тридцать-сорок поприщ проходить! – поддержал атамана Охрим.

– Я к Магнит-горе собираюсь на двенадцати лодках за железной рудой. Там глушь! Самое место для схорона утайной казны! – глянул кузнец на атамана из-под мохнатых бровей.

И порешил совет казачьей старшины: лодки с бочатами под парусами поведут к Магнит-горе завтра же Илья Коровин, Сергунь Ветров, Андриян Шаленков, Тимофей Смеюшев, Василь Скворцов, братья Яковлевы, Матвей Москвин, Охрим, Ермошка и кузнец Кузьма. Хорунжий пойдет с полком берегом для охраны. Но казаки в полку ведать не будут, что тащат в лодках. Федул Скоблов напросился на устье, что оставили без охраны. И положили: убивать других казаков, ежели о сокровище вызнают подробности, место схорона. И хитрость придумали: казну утайную на лодки ночью перенести. А в подземелье поставить столько же бочат с медью и свинцом. Возле них рассыпать будто бы невзначай пригоршню золотых. Кузьма пообещал к утру изладить для обмана кувшин сусальный, набить его дешевым хрусталем, кольцами и серьгами из плохого турецкого серебра, олова.

Цветь девятая

- Ночь-то какая, Кланыя! Ласковая, лунная!
- Ласковая, невозможно от окошка отникнуть!
- А кто ж энто у реки тенью таится?
- Бродяга бездомный, слепой гусяр!
- И лодки по воде снуют.
- То кузнец к Магнит-горе в поход навострился за рудой.
- Дверь-то бы открыла, пустила бы...
- Не пустю, Нечай.
- Я тебе не люб, Кланыя?
- Люб.
- Так запусти, никто не прознает.
- Не пустю, ты согрубишь! Испортишь меня!
- Ох, и дура ты, Кланька!
- За такую дуру султан бы полбасурмании отдал!

Цветь десятая

И могучные казаки шарахались в стороны от Аксиньи. Бабы детишек укрывали, сами в избах прятались, запирали двери на засовы. Страшной была в безумии Аксинья. Волосы черные расплетены, растрепаны. Очи дикие не видят божий мир. Бледная, вся в крови, бегают она по станице с топором в руках, врывается в чужие усадьбы. Тронулась умом она, за день почти всех свиней в соседских хозяйствах порубила. Не пустили к себе бешеную, отбили от нее лесинами токмо Силантий Собакин, Федька Монах и Тихон Суедов. Да и то, не отмахались бы они, если бы Хевронья не плеснула в лицо одержимой крутым кипятком.

Аксинья от кипятку сразу ослепла, обварились глаза ее синие, стали творожными. Кожа с лица полезла лохмотьями. Но не успокоилась, не утихомирилась тронутая. Ходила крадучись, вслушивалась, где свиньи хрюкают. Держала над головой топор. А еще утром была она здоровой, красивой и веселой. У колодца с Нюркой Коровиной похихикала. Узнала, что Илья за рудой на лодках ушел с кузнецом. У Дарьи опары взяла, подмигнула Олеське озорно. На Марью Телегину глянула с болью и завистью. Паше-персиянке показала, как доить корову. Прихворнувшую Домну Бугаиху навестила. Верке Собакиной погадала. Глашку, ордынку сопливую, пирожком одарила. Гусляра слепого через брод за реку перевела. Пошел он на хлебником с обозом Хорунжего. Всех Аксинья одарила, облагодетельствовала. И запрягла повозку о двуконь, поехала за дровами в лесок. Сынок Гринька остался во дворе, не мог оторваться от колоды с водой. Лодочки из коры сосновой пускал, радовался. А двор чистый, покрыт травой-муравой, будто ковром. У коровы в стайку вход отдельный, с реки. Да и к чему тащить мальчишку в лесок, в царство мошкеры и комаров. За дровами съездить можно быстро.

Мать в лесок уехала. Знахарка проковыляла по станице, глянула вслед повозке. Собака завyla. Зоида Поганкина прошла с оглядкой. Кукушка прокуковала трижды. Гринька запустил седьмой кораблик. А огромная пятнистая свинья выбила рылом подворотню, пролезла во двор Аксиньи. Суедовская свинья была, помесь кабана и хрюшки. Хищница набросилась на мальчишку, разорвала его, съела. Остался от Гриньки один мизинчик да обрывки окровавленной рубашки.

Крики ребенка издали услышала Параха, но не поняла, в чем дело. До других дворов далеко. Первой обнаружила беду Стешка Монахова. Принесла она Аксинье туесок соли, долг. Вошла через калитку и обомлела. Свинья доедает мальчишку, косточками похрумкивает. Выскочила Стешка, уронив соль, закричала. Но к ней долго никто не подходил. Блажная баба и пьющая, болтливая и скандальная. Муж побьет ее – она кричит, причитает, всем рассказывает. Поэтому сначала вокруг Стешки ребятишки собрались. Стали постепенно подходить и казачки, старухи. А блажная мычит, не может вымолвить слова. Началась у нее рвота, лицо почернело.

– Никак ей язык отрезал Федька! – ужаснулась Зоида.

Аксинья уже из леска с березовыми дровами едет.

– Федька язык отрезал Стешке! – пояснили ей бабы.

– Слава богу! Давно надо было ее поганый язык раскаленными клещами вырвать! Блюешь, Стешка? С перепоя корча? Когда мне соль возвернешь? За соль я с тебя шкуру сниму. Ныне соль дорогая! И не трепись боле у колодца, будто сынок у меня от Меркульева! За сплетни ноги переломаю! А язык твой и взаправду вырву! Ха-ха-ха! Разойдись, бабы! Дайте проехать!

Аксинья к своей усадьбе подкатила, шелкая лихо кнутом.

– Тпру! Ошалелые! Тпру! Чего испугались? Чего заметались?

Еле коней успокоила. Погрозила бабам кулаком, за калитку вошла открывать ворота. Стешка мучается, перстом тычет Аксинье вслед. Бабы уже расходиться начали, но услышали вопль душераздирающий. Мороз по коже. На дереве пыток под огнем так не кричат.

Что же случилось? Боязливо подходили они к забору, заглядывали в щели. С ума сошла Аксинья, свинью живую рубит топором на части! Когда распоняли беду, побежали рассказывать по городку.

Казачи не знали, что делать. Овсей валялся пьяный, молитву не мог сотворить спасительную. Расстригу раскачали и забросили в лужу. Пусть полежит, охолодится. Толпой верховодили Михай Балда и Федька Монах. Бабы вспомнили, как Аксинья недавно толкнула знахарку в лыву с боровом! Жутко стало!.. Вот она – вылезла возмездьем из грязи колдунья! Сама, мабуть, обернулась свиньей хищной и съела мальчишку в отместку. Так она разохотится и всех детей на Яике пожрет! До баб, до казаков доберется! Федька на телегу вскочил:

– Побить и пожечь надо знахарку! Почему она заместо собаки волка в избе держит? На свинье ездит верхом – сам видел! Истинный крест! Оседлала, значит, борова еще на ту масленицу, поехала! А вот гляньте: и кто его летает над нами? Колдунья ворона говорящая. Сила нечистая! Ить птица больше слов произносит за один день, чем Микита Бугай за год! А вспомните, казаки, как я потерял око! За вас пострадал, когда в энту нечистую силу из пищали целился.

– Смерть знахарке! – заорал Михай Балда.

Толпа ринулась к хате Евдокии. И никто не вспомнил, что там лежал и лечился простреленный в шинке Остап Сорока. Больных знахарка часто оставляла у себя. Быстрее они поднимались на ноги.

– Выходи, ведьма! Убивать будем! Энто ты свиньей обернулась и Гриньку съела! – ударил в дверь избушки ногой Федька.

Остап вышел с пистолями. Выстрелил... а пустым пистолем ударил Федьку по голове. Толпа разбежалась, Михай Балда увел окровавленного друга. С Остапом лучше не связываться. Он и драться не умеет, дурак, сразу убивает.

Меркульева в станице не было, ушел с полком Скоблова к устью. Охрима черт унес с кузнецом к Магнит-горе. Хорунжий туда же с войском по берегу утащился, охраняет караван лодок. Соломона отпустили в Астрахань. Ни одного умного человека нет! Из казацкой старшины остался в станице один Богудай Телегин.

Шумная толпа казаков, баб и ребятишек подошла к хороминам Богудая. У него из ворот две пушки торчат, всегда заряженные. Сени, дом, пристройка и даже коровник с бойницами для пищалей. На заборе морские цепи с кораблей персидских.

Марья вышла на высокое крыльцо, чинно поклонилась народу.

– Зачем пожаловали, дорогие гости? Хлеб-соль! Девоч у меня рано сватать! Сыновья молоды для атаманства! Какая у вас потреба? Я сижусь с Дарьей Меркульевой. Проходите и вы!

– Богудая выведи! Богудая! – шумело сборище.

– Спит он! Всю ночь бочки грузил со снедью и запасами на лодки кузнеца. Не стану будить!

– Свинья Гриньку съела! Аксинья рехнулась, бегаёт по станице с топором. Хевронья ей очи выжгла кипятком. Но прыгает бешеная, угрожает! Всех свиней на станице поперерубила. До твоих доберется в одночасье!

Позади толпы появилась Аксинья. На ощупь шла она, спотыкалась, размахивала над головой колуном. Марья пристально посмотрела на нее, повернулась, скрылась в сених. Богудай уже встал, услышал мятеж. Он сполоснул лицо из рукомойника. Вытирался рушником медленно, слушал жену, поглядывал на сидящую за столом Дарью.

– Вот такая беда! – запечалилась Марья.

– Хорошая была бабенка! Надо бы ее пожалеть! – сказала Дарья.

– Пожалей, Богудаюшка, Аксинью! Пожалей! – мягко попросила Марья.

– Ладно, пожалею! – вздохнул он.

Богудай поправил пояс, разгладил и одернул рубаху, взял пистоль и вышел на крыльцо. Толпа раздалась молча. Казаки понимали свою вину: не пожалели Аксинью. Попятились бабы, уступая дорогу жалельщику, спасителю. Детишки шеи вытянули, замерли. Заплакала в толкучке Дуняша Меркульева.

И захрумкал песок под сапогами Богудая. Громко похрустывал, на всю станицу. Девять шагов до Аксиньи. Первый шаг – и вспомнилась та синеглазая, чернобровая юница, которая отвергла его. Второй шаг – боже, как она любила Телегина! Третий шаг – никто не узнает о сокровенном, что было! Четвертый шаг – сынок-то Гринька был моим! Пятый шаг – зря в ревности мучилась Марья! Шестой шаг – почему нельзя иметь двух любимых жен? Седьмой шаг – тяжело терять друзей! Восьмой шаг – Марья, пожалуй, лучше, надежней! Девятый шаг – пора и о великой жалости подумать, на которую способны токмо казаки!

По толпе прошел вздох. Аксинья замерла, покорно склонив голову, но топор из рук не выпустила. Марья смотрела на мужа из окошка. Дарья – из другого. Из ворот целились на толпу две медные пушки. Солнце укрылось за тучку. Похолодало. Богудай приставил дуло пистоля к затылку одержимой и выстрелил.

Цветь одиннадцатая

Поелику римские патриции решали государственные, торговые и прочие важные дела в бане, то и князь Голицын сидел в чане с горячей водой и рассолом. Знахарь натер его медом и горчицей. Сенька плеснул на каменку, прожег до костей паром, простуду выбил березовым веником. Однако нудила еще поясница. Вылез из парилки, прошел в мойную, сел в рассол горячий. Но тяжело, не мог долго выдержать. Застучало в голове, виски заломило, потемнело в глазах. Стал задыхаться.

– Выволакивай! – всплеснул он белой, холеной рукой.

Служки – парни здоровые, рослые – вынули великого благодетеля из рассола, окатили из бадьи прохладой. Подбежали юнцы с махровыми рушниками. Обтерли, обернули простыней боярское брюхо, дородное тулово. Князя увели в сухой угол, усадили в плетеное кресло. Ублажали чаркой и холодным квасом. Рядом столик поставили с колокольчиком, вышли. Голицын размышлял:

– Вот умер Федор Иванович Мстиславский. Не ставлю себя выше его. Не зря раньше в думе подписывались так: «Бояре – князь Ф.И. Мстиславский со товарищи...» А сейчас можно было бы начертать: «Бояре – князь Иван Васильевич Голицын со товарищи...» Но затирают меня, Голицына, и Шуйский, и Трубецкой, и Воротынский, и Лыков...

Сенька доложил, что в предбаннике дожидается милости купец Гурьев. В подарок привез семь бочек икры весеннего засола, но хорошо сохранившейся, из ледника. И шепотом донес: возле усадьбы княжеской отираются подозрительно стрелецкий полковник Прохор Соломин и дьяк сыскного приказа, вершитель особых поручений патриарха Ивашка Тулупов. Мол, не побить ли их? А мож, схватить, заломить руки, в клеть бросить? За один миг исчезнут в тихоте.

– Не трожьте! Это сотоварищи купца. Не вороги они мне. Однако купчишка повременит. Ух, пот льется струями. Руки мокры, капает с носа. На чем мы, Сенька, остановились? На письме царю князя Андрея Курбского? Читай дале!

– «Широковещательное и многошумящее твое писание приях... воистину, яко бы неистовых баб басни! И так – варварское! Яко не токмо ученым и искусным, но и простым, и детям со удивлением и смехом!»

– Ох, как он его! Ай да Курбский!

– «...некоторые человецы обретаются не токмо в грамматических, но и в диалектических и философских учениях».

– Ох, довольно, Сенька, хватит. Опосля усладимся письмом ядовитым князя. А в учениях диалектических и философских я не ведал сильнее Охрима! Жаль, что ушел мудрец от моей милости. Любопытно, где сей ученый муж обретается? Должно, выпрашивает с нищими на паперти кусок хлеба, копейку. Где, Сенька, Охрим? Он же твой родич?

– На казацком Яике. У атамана Меркульева. Толмачом. Говорит, здесь обидели его спьяну, простоквашей плеснули в рыло.

– Дурень ты, Сенька! Молоком кислым я облил Охрима не для обиды, а для увеселения гостей. А разошлись враждебно мы с философом из-за Юрьева дня. Охрим за волю для холопов и мужиков ратовал. Он республиканец! Не ведомо тебе по-настоящему сие латинское понятие. Посему молчи, не мешай мне мыслить. А купчишке Гурьеву в предбанник поставь жбан с квасом хмельным.

Князь Голицын закрыл глаза. Задумался, картины жизни увидел. Значит, опять ушел Охрим в казаки... Когда же бог поразит казаков великой карой? Если бы не было этих диких воителей, кто-нибудь из Голицыных стал бы царем. На худой конец – князь Мстиславский! Но токмо не род Романовых! Казаки потрясают государство. Обрели силу невероятную. Они привели первого лже-Дмитрия. Они шесть лет убивали и грабили дворян и бояр. Они с восстав-

шими холопами опустошили Русь. Глумились над великой Московией, жгли детей дворянских на глазах матерей. Поляков пустили в Русь. И они же сокрушили пришельцев, которых вначале поддерживали хитро...

Ох уж эти казаки! На Земском соборе 21 февраля 1613 года проклятое казачье не пустило в цари князей Голицыных. Бояре убоялись междоусобиц, казачьего разбоя. Дворяне поддержали Михаила Федоровича Романова. Было ему тогда шестнадцать лет. Пребывал он скромно на Костроме, в Ипатьевском монастыре, вместе с матерью – инокиней Марфой. И не снилось балбесу, что станет царем! С перепугу отказывались с матерью. Много годочков с тех пор улетело. Царю Михайлу Федоровичу теперь весь почет. Заматерел он, телом силен. На игрищах с кулаками против богатырей выходит. В лесу на вепря нападает отважно. И, в общем-то, не дурак. Но все-таки обыкновенный боярин! Не царь по породе! Грамоте, разумеется, обучен. Под короной умеет красоваться. Послов принимает мудро. Вершит суд иногда самостоятельно по мелочам. Но Русью правит, однако, не он, а отец его – патриарх Филарет. Ничего хорошего в этом нет. Церковь возвысилась над государством. Не дай бог, если так останется. Патриархом может стать завтра кто-нибудь по крови из мужиков. Церковь растет не из князей и боярства, а из народа. Значит, мужик над боярами взлетит? Над шапкой Мономаха? Над Голицыным? Неможно власть церкви уравнивать с волей государя! Иван Грозный в этом был державнее! Да и Голицыны не позволили бы патриарху вмешиваться в дела мирские. Все князья Голицыны – прирожденные государи! И не выскочки, не окровавленные подлецы, аки Малюта Скуратов! Не душители невинных младенцев, яко Борис Годунов! Не жалованы саном из рук лже-Дмитрия первого, будто Трубецкой и Филарет. Патриарх он, знамо, святой. А митрополитство ростовское до этого получил все-таки от первого самозванца... Без великой родословной патриарх! Хоть и в темницу заточен был при Годунове. Мы, Голицыны, якшались с проходимцами-самозванцами из хитрости, дабы выжить, сохранить род, воспрянуть! Для Руси великой старались! Молчали иногда, лгали! Не для суетного живота!

Филарет, не откажешь ему, умудрен, крепок хребтом в православной вере, убеждениях. Настырен зело. В годы смуты выделился особливо. Но опять же вместе с моим братцем – князем Голицыным! Алтына бы не дали за него без Голицына! Семибоярщина порешила тогда пригласить на русский престол Владислава – сына короля польского Сигизмунда Третьего. Перевернитесь в гробах, клеветники! Не предавали Русь бояре. Господи, просто не было сил для войны. Ухищрялись пощипанные бояре. Мол, пригласим шляхтича, семя Сигизмундово, замиримся временно с поляками шипучими, а там видно будет! Царя Владислава можно было и отравить со временем. Русская знахарка яд стоговит – диавол не разгадает. Удавить царя подставного не так уж трудно...

На шапку Мономаха, на земли русские претендовал сам Сигизмунд. Отказали ему решительно. Патриарх Ермоген с духовенством восстал. Мол, сможет Русь в крайнем случае принять на трон Владислава, но без войска иноземного. Да и то с тем уговором печатным, что примет католик христианскую веру!

Ох, уж эта русская церковь! Не умеет коварствовать, убивать, обманом приводить к смерти и пыткам. Дитячья вера!

Ермоген боялся предательства, засилья иноземцев, крушения Руси. Посей мак на снег! Брось коноплю в болото! Рожь – в горячий песок! Что взойдет? Орда татарская не взойшла за триста лет насилия! Польша, яко рыбка малая, нырнула во чрево кита российского. И завоевала кишку ничтожную. Не подумала, что ее переварят! Боже мой, что такое Владислав? Песчинка! Но церковь русская даже такой песчинки не потеряла.

В Польшу посольство направили, а Ермоген подсунил кость: митрополита ростовского Филарета. Чувал патриарх, что Филарет не предаст, не уступит шляхтичам и боярам. Возглавил посольство князь Василь Голицын. Да зазря митрополитишка подозревал вначале князя. Тот сам был костью!

А на Руси схватили патриарха Ермогена, заточили в Чудов монастырь, уморили голодом. Прелестные письма святой бросал, заклинал народ подниматься противу ворогов. Двадцать пять городов всполошил. И вышло грозное ополчение под главенством Прокопия Ляпунова, двинулось к Москве. Привели свои войска князь Трубецкой и атаман Заруцкий. Изничтожили бы тогда поляков... Сто тысяч казаков и воинов из людишек последних в один день взяли Москву. Тысячи ляхов смрадно полегли от мечей и самопалов. Остальные укрылись в Кремле и Китай-городе.

Помрачнел воевода пан Гонсевский. Смерть пришла для вторжителей. Спасения не предвиделось. Плакали шляхтичи, прощались друг с другом. Зарывали дукаты в землю поглубже. Готовились к часу страшному. Не ждали прощения, грехи велики. Семь панов застрелились из пистолей. Три воина сбросились с башен кремлевских вниз головой, разбились. Девять от зелья хмельного не проснулись. Два сошли с ума, с хохотом на пики казацкие животы свои ткнули.

Проверить надобно основательно, но, говорят, что было якобы так: избавление для поляков пришло неожиданно. В Кремле с поляками сидел торгаш-грек. Застрял купец с обозом хлебным в Москве. Хорошо знал он россиян. Ненависти к ним у него не было. Напротив, уважал русичей. Но погибать с поляками в Кремле ему не хотелось. А выйти живым не было возможности. Потому и надумил он, говорят, воеводу Гонсевского изладить поддельный приказ Прокопия Ляпунова об уничтожении всех казаков. Для свары, для разладу в стане русского ополчения. Позднее честолюбивые шляхи хвастались хитростью своей. Забыли про грека. Да и сразу его не принимали...

– Не поверят! Измышление вылезет явно! – отмахнулся Гонсевский.

Какой-то русский поп-расстрига, примкнувший к полякам, советовал испытать хитрость. Бояре-сигизмундовцы поддержали его:

– Поверят. Прокопий Ляпунов каждый день вешает казаков за грабежи. За обиды населению. Недовольны казачишки предводителем. Не привыкли они к послушанию, благородству. Недавно разбойники ворвались в девичий монастырь. Всех монашек испортили! Ляпунов атамана казацкого повесил за сие безобразие. Казаки – это бочка с порохом! Взорвется, ежели бросим в огонь!

Польский писец-умелец подделал приказ. Ложную печать изладили тщательно. Возрадовались. Русский дурак верит бумаге! Печать для него выше иконы.

Ночью сотня самых храбрых шляхтичей пошла на вылазку. Взяли пьяного есаула у атамана Заруцкого. Не годился он для хитрости. Вонзили кинжал в живот. Снова поползли. Повезло. Закололи сотника из дворянского ополчения. Набили его карманы цесарскими ефимками, золотыми кольцами, серьгами. Поддельный приказ подсунули. Оба трупа подбросили к табору казацкому. Будто в пьяной драке убили они друг друга.

И чудо произошло! Утром в русском стане возникло смятение, казаки разогнали к полудню восемь дворянских сотен. Предводителя войска Прокопия Ляпунова убили, разорвали на клочья. И распалось русское ополчение! Высидели поляки осаду. Ушли казаки, отступили ратники, разбежались мужики. Но зазря ликовали чужестранцы. На Руси вызревало новое, великое, смертельное для пришельцев войско.

А Голицын и Филарет с посольством в Польше все ведали. Купец Соломон Запорожский приносил вести, письма утайные переправлял за монеты. Потому и держалось крепко посольство. Голову морочили Сигизмунду. От решительных действий отпугивали. Отпрыска королевского вроде бы обещались на трон московский посадить. Да без шляхетского войска. И опять же – с обязательным условием: отступить полякам от Смоленска, уйти с Руси, а Владиславу принять христианство. Разгневался король, объявил послов пленниками. Догадались поляки, что хитрят русские послы, выигрывают время. Так оно и было. Близился перелом.

Читали люди по Руси пламенные послания Дионисия – игумена Троице-Сергиевой лавры. Правда, сочинял грамоты не сам игумен, а его келарь Авраамий Палицын. Дионисий

только подписывал их. Да не в том суть. Звали письма к борьбе, к истреблению пришельцев, к защите православия, России! Прочитал такой призыв Козьма Минин на площади в Нижнем Новгороде... И встало, как из-под земли, новое ополчение с князем Пожарским. И побили литву, и побили поляков. В Москве у Пожарского отличились тогда молодые казацкие полковники – Меркульев и Хорунжий. Одного из них князь наградил шеломом, со своей головы снял при народе. Да, помнится, он Хорунжего одарил. Хищная рожа. А Меркульев забылся... Как же он выглядел? И почему мой философ Охрим ушел к этому Меркульеву?

– Соку брусничного испей, князь! И простынь намокла, сменить потребно! – тронул Сенька за локоть Голицына.

Князь встал, позволил служкам вытереть пот, сменить полотно. Рубаху и штаны не стал напяливать. В простыне удобнее. Римские патриции по улицам хаживали в подобных одеяниях. Потому и он, князь Голицын, принимает гостей в таком облачении. Уселся, отпыхиваясь, в плетеное кресло. Испробовал соку брусничного. Живительно.

– Что там, Сенька, у нас?

– Гурьев, купец астраханский. С подарками: семь бочек икры севрюжьей уже упрятали в амбаре. Однако на патриарший двор купец привез вчера девять бочат.

– Призови, поставь ему скамью. Не здесь, дурень! Подале чуть. Так вот. От купчишки рыбой воняет. А ты, Сенька, служек разгони. Сам выйди, погуляй. У меня разговор торговый. Твои глаза и уши не надобны!

Гурьев поклонился низко, одарил московского патриция коробком золотых. Про подаренные бочки с икрой умолчал, чем понравился князю. Рассказал подробно о встрече с Филаретом. Надеялся на сочувствие, на помощь. Знал, что не любит князь Голицын патриарха и царя.

– Не жди заступничества, – прищурился князь. – Филарет мудр, для войны с казацким Яиком сил нет пока. И не поверю я в утайную казачью казну из двенадцати бочек золота, серебра и кувшина с драгоценными камнями. Где могла голь добыть такое сокровище? Поговорим лучше, купец, о деле, о рыбе!

– Предлагаю, князь, два пая из семи на астраханском учуге.

– Для чего я тебе надобен в пайшики?

– Не сокрою! Имя великое – защитное! Не каждый вор пойдет грабить учуг князя Голицына. И поборов от воевод и дьяков поменьше станет. Не буду я в убытке.

– Ты хитрец, однако, Гурьев. Такому и Яик в будущем доверить разумно.

– На Яике для князя будет три пая! Подпиши уговор. Облагодетельствуй!

– Ты бы, мил друг, и Меркульеву пай предложил! Подкупил бы казацкую старшину. Мы пожалуем их милостями, прощением! Смотри, а то опередят тебя. Филарет послал туда отца Лаврентия. К Меркульеву направил! Дабы склонить на мирное соединение Яика с Русью. Вспомни, купец, о Ермаке. Полста лет почитай минуло, как Ермак Тимофеевич нам Сибирь подарил. Мы уже там почти до окияну дошли. Пора бы казакам и Яик поднести государству русскому на золотом блюде!

– Князь ведает о золотом блюде, которое у них висит на дуване?

– Сенька! – звякнул серебряным колокольчиком Голицын. Изукрашенная резьбой листовенничная дверь бани мгновенно открылась. Вбежал Сенька, неся на венецианском подносе водку, севрюжью икру, хлеб, малосольные огирки. Лежали на подносе гусиное перо, бумага. Чернильница стояла, из предбанника взятая.

«Опять подслушивал, стервец! Выгнал бы пройдоху, но золотая голова: двудвенадцать языков знает. И даже манускрипты латинские и древнегреческие читает с легкостью. Нет, без него мне не обойтись!» – подумал Голицын.

«Уж не соглядатай ли и наушник это меркульевский? В Москве у атамана есть свои людишки!» – похолодел Гурьев, оглядывая бойкого слугу.

– На здоровьице! – зашаркал Сенька лукаво.

– Если и терплю его за что, то за догадливость. Мысли мои Сенька узнает наперед! – засмеялся распаренный Голицын.

Купец угостился чаркой, подписал уговор с князем на астраханские, а буде и яицкие паи, встал и раскланялся, в предбаннике Гурьев одарил на всякий случай Сеньку тремя золотыми. Бойкий юнец червонные принял, снова протянул руку. Нахалюга! Бесстыжие глаза!

– Семен Панкратович! – на прощанье отрекомендовался Сенька.

Пришлось сунуть еще два цесарских ефимка. А столько солдат-наемник в охране царя получает за полмесяца трудной службы.

Цветь двенадцатая

- Дарья, как бы тебе сказать... Гром и молния в простоквашу!
- Говори. Без «как бы»! Без грома и молнии в молоко кислое.
- Ходят слухи, что Лисентия-то ты рогатиной запорола.
- Я и порешила его. Вилами!
- Уж не за корову ли и свиней?
- Нет, он взял откуп, а сам подбивал казаков, чтобы тебя казнили.
- Бог тебе судья, Дарья.
- Я перед мужем чиста, перед богом светла.
- А пошто шинкаря хулишь?
- Отравляете зельем вы казаков. Народ губите. Шинкаря изгнать потребно от нас на веки веков!

Цветь тринадцатая

Борзо шли челны по реке. Ветер-южак полнил паруса ровно и напористо. Проскочили янгельский слий, скоро появится Магнит-гора. По левую руку леса дремучие, по правую – степь волнистая. А Хорунжий с полком по берегу неведомо где тащился. Не поспевали кони за быстрыми парусниками. Челны могли двигаться еще быстрее. Но за каждым на верви лодка с грузом. На одного казака по две посуды выходило.

Ермошка и его одногодки впервые были в таком трудном походе. А спрос с них, будто с казаков. Илья Коровин атаманил на лодках, спуску никому не давал. Чуть брызнет утром солнце – вскидывались паруса. На обед привал короткий. Изредка. Чаше обедов не бывало. Ели токмо утром и вечером. Жидкая каша с кусочками сала – вся еда казачья в походе. А ежли ложку свою сломаешь или потеряешь, сиди голодным. Котел дадут облизать напоследок. Бориска где-то обронил свою черпалку оловянную, цельный день зубами шелкал. Даже отец не дал ему ложки. К вечеру вырезал себе Бориска ложку деревянную. Большую, всем на зависть. С дыркой в черенке, чтобы на пояс подвешивать.

Остановки делали на закате солнца. Так вот каждый день. Даже нужду справляли в пути, с лодок. Отдохнули и поели хорошо всего один раз, когда кузнец Кузьма добыл выстрелом матерого лося. Сохатый переплывал реку, напоролся на челны. Убили его на берегу, дали гордому выйти из воды. Матвей Москвин коптильницу соорудил во мгновение ока из дикого камня. Братья Яковлевы сбегали в лес, из дупла меду твердого приволокли с полпуда. Василь Скворцов сварил вкусную тюрю из опят. Охрим зерно на ермаке растер, напек на раскаленном камне пресных лепешек. Илья бочонок вина из своего челна выкатил. Устроили есаулы маленький пир. Но отрокам вина не дали. На Яике святой обычай: не пьют вина юнцы ни капли до самой женитьбы, до присяги. Первая в жизни чарка – на свадьбе! Или на присяге!

На челнах в походе к Магнит-горе были друзья и ровесники Ермошки: Прокоп Телегин, Андрюха Бугаенок, Мироша Коровин – сын Ильи, Демидка Скоблов, Митяй Обжора, Миколка Москвин и Бориска. Товарищам не удавалось посидеть вдосталь у костра, поболтать. Каждый вел днем парус. Походный атаман не позволял растягиваться по воде каравану. Не было отдыха мальчишкам и на берегу. Ночью наравне со всеми ставили их в дозор. Попробуй усни! Застанет атаман спящим – побьет дрыном, а то и голову отрубит. У Ермошки горел на спине кровавый рубец. Получил награду от Ильи Коровина за дремоту на страже. А для чего такая осторожность? Никто не понимал! Ордынцы сгорели в степи. В ближайшие два-три года их сородичи не появятся у Яика. Башкирцы не ходят войском. Да и редко они здесь появляются. За рудой приходят иногда к Магнит-горе. Здесь же в ямах крицы выпекают. Казаков они боятся. Отгоняют их казаки от руды, убивают. Чтобы не ладили из криц пики и наконечники для стрел. Не угроза для казаков башкирцы. Кого же тогда опасаются есаулы?

Непонятного в походе было много. Почему за рудой с кузнецом ушли в этот раз не поручники, не голь, а казацкая старшина? Где это видано, чтобы есаулы руду возили? А что таится в бочках? По осадке челнов видно, какой груз. В бочатах – свинец и медь! Должно, запас войсковой перетаскивают сюда. Наверно, устроят схорон. Но опять же – для чего? Неужели главный городок казацкий решено перенести? Место явно плохое. От моря далеко. Глухомань. Учуги не поставишь – река здесь мелкая. В сухое лето по колено у Магнит-горы, говорят. Но вода чистая, нерестится по веснам севрюга. Чалый у Ермошки бежал все эти дни по берегу с правой руки, не отставал. Будто не конь, а собака. На посвисты отзывался ржанием. Вечером радовался встрече, ластился к хозяину. Ермошка стащил у Охрима четыре больших лепешки. Размачивал куски в воде – кормил коня. Хлеб – для коня лакомство, радость. Иногда Илья посылал Ермошку конно на бугры дальние, посмотреть вокруг. Нет ли врагов? Нет ли одино-

ких всадников? Не видно ли полк Хорунжего? Очень конь пригодился. И на привалах все разговоры у есаулов были обычно об этом удивительном коне.

– Я бы за такого коня дал тыщу золотых! – вздыхал Сергунь Ветров.

– Конь хорош, но нет в нем величия, княжеской сурьезности. У Хорунжего белый, царский конь. Со смыслом на людях держится. Не конь, а князь! – размышлял Тимофей Смеющев.

– У нас князей-то и не видал никто в жизни, окромя Хорунжего и Охрима. Расскажи, дед Охрим, про князей. По слухам, народ – сурьезный. Ась?

– Я токмо князей Голицыных хорошо знавал. Горделивые зело. Де, мы по природе – цари! Мол, мы древней крови! Мы не убивали младенцев! Царя Годунова не любили они, значит. Притеснял их царек. Отравили они его, мне сие известно. Яду бросила в суп кухарка. А царицу Марию Григорьевну и сынка годуновского задушил самолично князь Василий Василич Голицын. Вместе с князем Мосальским давил дитяню. А перед народом каждый день похваляется: «Мы не резали младенцев!» Да и Гришку Отрепьева на престоле освятил Голицын, а не поляки! Юлил перед самозванцем, потому как за ним была сила – казаки! Без хребта князь! Но хитер! Все таковы Голицыны. А книг премудрых много имеет. Из-за книг и терпел я два года князя. По уму, казаки, на Руси сейчас всего два князя. Один мой внучок – Сенька. Он до сих пор у Голицына состоит писарем и казначеем. А второй князь – Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиевского монастыря. Он мой приятель добрый. Поди, уж помер. Впервые он правильно сказал, что было причиной бед при смуте: «Всего мира безумное молчание!» Молчание перед неправдой! На троне самозванец, а все молчали! Творилось зло от имени бога и народа, а все молчали! И сейчас кто правит Русью? Престарелый патриарх Филарет. У него язык заплетается от немощности! Он проповедь не может прочесть без бумажки! А все молчат!..

Ермошка лежал у костра на одной кошме с Бориской и Прокопом Телегиным. Они пытались слушать премудрого Охрима, но их сморило от усталости. Уснули, запосвистывали носами. Здоровые казаки вырастут! А Прокопка в отца богатырем вымахает. Вот какие ручищи – переломят весло. Наливаются силищей отроки. Воями будут могучими. Разве можно одолеть Русь, когда в ней такая буйная казачья порось?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.